

М.ВЕЛЛЕР



ПОПРАВКИ К ОТРАЖЕНИЯМ

Книги Михаила Веллера

Михаил Веллер

Поправки к отражениям

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

Веллер М. И.

Поправки к отражениям / М. И. Веллер — «Издательство АСТ»,
2019 — (Книги Михаила Веллера)

ISBN 978-5-17-120868-4

Эта книга Михаила Веллера – о том, как классическая литература предопределила советский тоталитаризм и даже классики не стыдились травить конкурентов. Здесь оживают золотые шестидесятые годы нашей культуры, а автором первого русского романа оказывается оклеветанный историей талант. Вспомним свое величие!

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-120868-4

© Веллер М. И., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Русская классика как яд национальной депрессии	6
Золотые шестидесятые	28
Братья Стругацкие на фоне конца света	49
Огонь и агония	70
Запрещенный Фаддей Булгарин	87

Михаил Веллер

Поправки к отражениям

© М. Веллер, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2020

Любое использование материала данной книги, полностью или частично без разрешения правообладателя запрещается.

Русская классика как яд национальной депрессии

А главный вопрос литературы: как вообще жить? Если справедливости нет, а счастья хочется? Читать книги – зачем: стать умным и бедным?

Я был зван на совещание по проблемам русской литературы в школе: плохо знают, мало хотят, как поднять интерес, втиснуть все в программу... Тогда у меня впервые и возник этот вопрос, вернее – вдруг сформулировался: а с кого подростку брать пример из героев русской классики? Кому подражать? Чему его эта классика учит? Строго-то говоря? К чему его призывают шедевры великой русской литературы? Они ему жить хоть как-то помогают? Лучше делают? Лишние люди Онегин и Печорин? Убийца Раскольников? Изменившая мужу и бросившаяся под поезд Анна Каренина? Они его чему учат? Какой, простите, пример подают? В школе-то я такие вопросы и вообразить себе не мог, думать даже не смел... И тогда – вопрос ужасный как следствие, недопустимый, кощунственный просто вопрос: а что ему русская классическая литература дает? Она ему на кой черт нужна? Чем интересна? Он вот для себя, для своей жизни, по своим интересам – что там может почерпнуть?

Или, возможно, язык Достоевского способствует формированию эстетического вкуса подростка? Или образ Николая Ростова учит правильно обращаться с крепостными мужиками? О: образ Обломова как пример целеустремленности и силы воли русского человека. Чем не тема для сочинения?

Дорогие мои, с такой точки зрения школьная программа русской классической литературы есть злостная воспитательная диверсия! Пессимизм, критиканство, несправедливость, кругом несчастья – да что это за жизнь такая?! Чему тут учиться – каким не надо быть?

Дискуссия развернулась какая-то непринужденная, я бы сказал, и непредусмотренная, и что поразительно: все товарищи учителя сказали, что да, связей с современностью, с сегодняшней жизнью, в школьном курсе классики не просматривается. Просматривается. Но мало. И не так. И – да! – очень не хватает положительных примеров. И ветераны с ностальгией вспомнили «Как закалялась сталь», «Повесть о настоящем человеке» и «Молодую гвардию». Уже советские.

Знание и почитание русской классики как элемент групповой культурной самоидентификации – это понятно. Иметь представление о вершинах, шедеврах, о величии национальной русской культуры – понятно. Но! Тогда ведь достаточно просто знать: Пушкин наше все, Толстой и Достоевский мировые гении, с Чехова начался новый мировой театр, и во всем мире величие наших гениев признают и не оспаривают. О'кей! Мы круче всех, это предмет нашей национальной гордости! Но? А читать-то эту допотопную скукотищу на хрена?! Мы же и так за, мы же не спорим!

Если честно, я сам так удивился такому повороту вопроса, что еще долго удивлялся. Это как красавица под неожиданным ракурсом: непривычное зрелище, но впечатление незабываемое.

Понять, конечно, можно. Нам уже двести лет историю преподавали как? То есть: нам в зеркало какими нас показывали? Ибо история народа – это коллективный портрет во времени, это общая биография как проявление сущности, натуры.

Изначальной литературой была «Повесть временных лет»: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет; придите княжить и володеть нами». IX век! Вот такая самохарактеристика. Первое литературное произведение – и уже упадок национальной бодрости и веры в себя.

То есть изначально правила норманны, они с дружинами были военно-административным сословием, а славяне и финно-угры – смерды, чернь, податное сословие, а поймают и свезут в Царьград на рынок – так вообще рабы на продажу.

А вот и первое произведение светской литературы – «Слово о полку Игореве». Лирическое и прекрасное, но выступил князь... как бы это... непобедно. Поход не продумал, взаимодействие с другими не наладил, приметами скверного исхода пренебрег, был разбит, попал в плен, слава Богу бежал, молодая жена дождалась – вот и праздник: жив остался. Погибших много, вернувшихся вроде и нет даже, но об этом умалчивается. История трагическая, но на подобные подвиги не вдохновляет.

Потом пришли монголы и, согласно многовековой официальной версии, было татаро-монгольское иго. Страдали под гнетом. Победили их в Куликовской битве. (Битва непростая: на месте побоища никаких следов археологи не нашли, а вообще места никто толком не знает.) Потом еще сто лет иго продолжалось, но через сто лет все же рухнуло. (Про то, что Орду сокрушил Тамерлан, после чего она и не поднялась – школьникам не говорили.)

Потом был сумасшедший садист Иван Грозный, изобретавший невиданные доселе пытки и казни, от коих никто в любой миг не был застрахован – вины не требовалось, достаточно было желания государя. (При нем же были уничтожены или переписаны библиотеки, отредактирована история.)

Потом прошла исполненная всеобщих предательств и резни Смута.

Потом – Великий Петр, слово его было законом.

Вопрос: ну, и какие тут условия для возникновения оптимистической, жизнеутверждающей литературы? Да вся допетровская литература, дошедшая до наших времен, была столь ничтожна числом и объемом, так это включая церковную, с житиями святых, с летописями; «Пouchение» Владимира Мономаха, «Моление» Даниила Заточника, «Слово о погибели земли Русской» и «Житие Протопопа Аввакума»... «Повесть о Петре и Февронии». А строго говоря, литература светская появилась на Руси, ставшей Россией и Российской Империей, тогда же, когда наука, образование, кораблестроение и так далее: волею императора Петра.

Вот условно с 1700 года мы можем говорить о русской литературе. Но говорить можем, а литературы еще все равно не было. Ее живая жизнь проявилась только в середине века: Иван Барков. Чтение веселое, но на фоне нынешней порнографии может привлечь подростка только как экскурс в фольклор – касание родной истории, так сказать, на уровне словесности. Однако школа всегда считала Баркова непедagogичным и преподавать отказывалась категорически. А ведь его стихи, ну и поэма известная, очень даже могла бы приохотить школьника к родной литературе, причем еще XVIII века! И жизненного оптимизма ему прибавить, жизненной активности, да и дать почувствовать близость к родной поэзии! Но – не судьба; понимаем...

И лишь к концу века появляются Фонвизин, Радищев и Державин. Читать язык Радищева сейчас школьнику решительно невозможно, что касается рабства, то бишь крепостного права – он и так против, а с царизмом полный непротык: последний император признан святым, история России – гармоничной и единой, осуждение зверств царизма уже не в моде и не в тренде – отстаньте от детей! Про Державина достаточно знать, что сходя в гроб он благословил Пушкина. «Недоросль» же фон Визена сочинение бесспорно достойное и смешное, но за два с половиной века язык русский изменился настолько, что для изучения именно в школе это сочинение, никогда не объявлявшееся шедевром стиля или устоем языкового канона, невредно было бы несколько адаптировать стилистически, что ли, переложить на язык более удобоваримый сегодня.

Сатиру мы уважаем, старик Скотинин прекрасен, не только учиться, но и жениться сегодня отроки (и отроковицы) желают отнюдь не всегда, эмансипация, – но все-таки образ болвана вряд ли есть образец для подражания, да? Не вдохновляет.

Литература века XVIII сегодня, как и тем более древнерусская – это музей литературы. Это можно и нужно хранить и изучать – но отнюдь не школьникам. Они могут иметь краткие сведения о вершинах и шедеврах? Допустим, это невредно. Но с точки зрения литературы, ее воздействия воспитательного, эстетического, просветительского – это балласт, груз мертвый,

хранимая в Википедии пассивная информация. Сейчас так не говорят, не пишут, и проблемы конкретно другие, и весь мир другой.

Но начали мы с этого всего, упомянули все вышеперечисленное – совершенно не зря. Ибо вся предшествующая литература дает представление о характере народном, о русском национальном характере, о мировоззрении народа, о представлении культурной элиты народа о своей стране и истории, о том, на что страна и народ способны, каков человек, чего он хочет и что может.

Богатырь Пересвет, несгибаемый протопоп Аввакум, влюбленные Петр и Феврония – как-то растворяются в густой специфике древних времен, в трудной уже архаичной стилистике, в лаконичном и лапидарном древнерусском изложении. Образы прекрасны – но музейны уже давно, понимаете...

И вот появляется кто? – Карамзин! Великая фигура русской словесности!

Он фактически реформирует русский язык – создавая язык литературный, новый, закладывая наш язык современный. Отказывается от массы рудиментов церковнославянского, отказывается от тяжеловесных, неудобоваримых форм немецкой грамматики, от германской лексики, вошедших в русский язык с реформой петровской. И переводит русский на рельсы просторечно-разговорные и французские. Легкость фразы, изящное интонирование, все эти точки с запятой, которые и поныне невозможно теоретически аргументировать с точки зрения академической русской грамматики.

Да никто не ввел в русский язык столько новых слов, сколько Карамзин! «Влюбленность», «вольнодумство», «человечный», «первоклассный» и еще многие десятки слов – это все Карамзин! Это он – или скалькировал с французского, или ввел из просторечий, как «кучер», или вообще придумал!

Он посетил Европу в дни роковые Великой Французской революции и написал «Письма русского путешественника» – с него начался сентиментализм в русской литературе, с него начался и жанр путевых дневников в ней.

Он издал многотомную «Историю государства российского» – и свою историю впервые стало как-то связно знать хотя бы образованное сословие. Да он впервые русскую историю объемно и внятно обобщил, впервые создал общий ее курс!

Он писал стихи – впервые в русской поэзии легкие, мелодичные, лиричные – после тяжеловесных строф Державина и Тредиаковского. Он писал повести, он редактировал журналы!

И остался в нашей памяти, в преподаваемой литературе – прежде всего «Бедной Лизой», которая несчастно влюбилась и утопилась...

Не будем поминать сейчас долго «Страдания юного Вертера», прогремевшие в Европе (также в читающей России) пятнадцать (двадцать?) годами ранее. Да, Лиза – родная русская сестра Вертера, родство и вторичность, подражательность которой, как и всего русского сентиментализма относительно немецкого – бесспорна. Но! Карамзин был фигурой огромной, мощнейшей, недаром увековечен на памятнике «Тысячелетие России». Почему же русский вкус, склонность, традиция, что угодно там еще – склонились именно к «Бедной Лизе» как образцу его творчества, как к тому, что надо знать школьнику?!

Вы меня простите за плебейское кощунство, но тому, кто именно внедрил несчастную Лизу к обязательному школьному изучению – мощный умелый адвокат вкатил бы здорове-еннейший иск: за склонение неокрепших подростков к суицидальному настроению. К пессимизму и мыслям о суициде. Да ведь это – попытка разрушить душевное здоровье подростка, в конце концов! Вульгарно звучит? Вульгарно. Но! А ничего более жизнеутверждающего вы у Карамзина не нашли?

Да чтоб вы все сгорели – именно школьникам нужны прежде всего книжки с хорошим концом! Их еще жизнь будет лупить по голове и всем нежным местам до самой до могилы – им прежде всего необходимо умение выстоять, иметь цель и добиться ее, им нужна вера в

свои силы, и еще – в них необходимо вдохнуть веру в то, что люди – в общем хорошие, не гады, не обманщики и воры, а если есть порок – он должен быть наказуем! Порок должен быть жестоко наказан – любой ценой, добродетель должна торжествовать, справедливость должна быть установлена!

Можете ржать сколько угодно, и никто не призывает воспитывать дебилов – но: вы со статистикой подростковых самоубийств в России знакомы? Почему Голливуд воспитывает человека в духе: ты должен творить справедливость своей собственной рукой, ты должен быть сильным и карать зло – а мы учим детей «Бедной Лизе»? А в результате – бедная страна! Бежать и утопиться – нас опять обманул нехороший дядя!.. Разворованная, согнутая в бараний рог бандитами, с забитым народом – вы на чью мельницу воду льете, товарищи преподаватели? Страдалий нам и без Лизы выше крыши.

Вот Жуковский, Василий Андреевич. Основоположник русского романтизма в поэзии. Учитель императрицы, наставник цесаревича. Автор государственного гимна, на минуточку: «Боже, царя храни». Да, текст небогатый – но Империя слушала стоя, черт возьми!

Поэт замечательный, автор прославленных баллад и сказок, ввел новые размеры в русскую поэзию. Н-но – для школы как-то не очень. Да и не в школе дело – в нашем представлении о табели о рангах русской классической литературы – да, хорош, но – ряд не первый.

Однако при жизни, современниками – именно Жуковский был Номером Первым русской поэзии! А Вторым – Крылов. Иван Андреевич же. Басни. Даром что Лафонтен в основе и Эзоп часто в первооснове. Но – легко, доходчиво, остроумно, интересно, мастерски сколочено, а глубокомысленно как! – современники были в восторге.

Одно в этих баснях плохо – не могу вообразить нынешнего школьника, которому это интересно. Мы их – в середине XX века! – зубрили как повинность, с легкой профессиональной тоской школяров.

Однако. Вот был Фаддей Булгарин. Ну, ругался с Пушкиным – так ведь это не приговор суда, Пушкин вообще много с кем ругался, одних дуэлей двадцать три. Что доносы писал – клевета и бред, давно доказано. Вот этот Булгарин, сейчас только одно о нем помянем – написал знаменитейший роман «Иван Выжигин». Тираж небывалый – более 10 000 (для сравнения – у Пушкина было 1000). Первый русский роман вообще! Он же – первый русский плутовской роман, он же роман нравов, роман бытоописательный, написан легко. Переведен тут же на восемь европейских языков – такое с русской книгой было впервые! Критика была блестящая. (Ну – он еще как бы наш Жиль Блаз, но уже и Чарльз Диккенс, – это чтоб не читавшие – а его сегодня никто не читал – могли составить себе какое-то представление.) (Здесь мало преувеличения.)

Герой с самого низа проходит через массу испытаний и занимает приличное место в жизни. Характер народный – выносливый, сметливый, стойкий, оптимистичный. Конец хороший. Автор – фигура крупнейшая, любимая читателем, уважаемая властью, знаемая всей грамотной публикой, разбогатевшая на гонорарах и рекламе от своей газеты.

Фигу вам! Не будем мы это читать, и знать, и помнить не будем. Не нужны нам такие удачники из тертых-битых мальчишек. Вычеркнули Булгарина потомки, переписали историю.

Ладно. Вот Михаил Загоскин, «русский Вальтер Скотт», как называли его современники. Роман «Юрий Милославский, или русские в 1612 году». Оглушительный успех, огромные тиражи, всероссийская слава. Он на радостях следом написал «Рославлев, или Русские в 1812 году». Опять успех, масса переизданий. Вот кто не верит – прочитайте: вполне сносная и сейчас даже книжка.

Что интересно: и «Иван Выжигин», и «Юрий Милославский» вышли в 1829 году; «Евгений Онегин» в 1831 целиком, и прозвучал гораздо тише. Но диспетчеры литературы, литературоведы, критики и журналисты, историю несколько перекроили. И вместе с водой выплеснули позитивного героя. И наше нынешнее представление о русской литературе первой трети

XIX века имеет весьма мало общего с рельефом и пейзажем родной литературы, который имел место в действительности и среди которого проживали читатели и современники.

Возникает такое ощущение, что русские литературоведы-потомки ненавидят героев, ненавидят сильную личность в принципе, им ненавистен оптимизм, они проповедуют страдание и бессмыслицу. И как только торчит гордая голова над серой гладью родной истории – ее этьс по маковке! бульк! и все опять ровненько – все страдают.

Возможно, в русский психотип действительно заложена потребность страдать?..

...И вот появляется гений истинный, загадочный, блестящий – Александр Сергеевич Первый. Грибоедов. «Горе от ума». Чацкий.

Вот он – Чацкий: первый Лишний Человек в русской литературе! Грибоедов ум имел едкий и тонкий. «Общество» и «общественное мнение» не презирал – он просто легко издевался над ним, воспринимая «свет» как зоопарк. Что не мешало сверкать в свете, крутить скандальные романы, иметь хорошие отношения едва ли не со всеми литературными кучками и группировками и вызывать зависть головокружительным восхождением карьеры.

Чацкий – лучше всех. Умнее, просвещеннее, благороднее. Верен идеалам и порывам юности, юношеской дружбе, юношеской любви. Ну, и что ему делать среди реальных людей, их жизнью и взаимоотношений? В этот мир он не вписывается – слишком высоки требования, идеален он. А переделать этот мир – ну-у, таких и мыслей нет. Хемингуэевский подтекст? Его время наступит через сто лет. Чацкий как скрытый будущий декабрист? Знаете – это тоже был бы интересный современный спектакль: Чацкий – революционер. Или ученый, путешественник, гомосексуалист; психосадист, мучающий людей воспоминаниями о невозможном счастье, педофил, не могущий смириться с тем, что девочка Софья повзрослела. О, для современного режиссера здесь раздолье!

Но факт высится в русской литературе незыблемо, как скала посреди пролива: первая крупная и знаковая фигура в нашей классической литературе – Лишний Человек.

Нечего делать в этой стране людям умным, принципиальным, благородным, жаждущим честно служить пользе Отечества. Осмеют и изгонят. Милый вывод, а? Очень вдохновляет на подвиги во славу Родины.

Пушкин так и написал: «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом». И Гога, великий Товстоногов, вывесил эти слова эпитафией к своему гениальному спектаклю «Горе от ума»: черные летящие строчки на белом прямоугольнике в верхнем правом углу зеленого, закрытого еще, занавеса. Через пять спектаклей эпитафия приказали снять!..

Да, так вот и Пушкин. Н-ну-с?

1830 год, напечатаны «Повести Белкина», гениальная короткая проза. Вершина – «Станционный смотритель» – умер бедный старик, разбитый бегством дочери с офицером. Внимание: вот он – первый Маленький Человек в русской литературе.

(Простите – невольная мысль, навеянная современными нравами. Гендерные отношения в русской классической литературе правильные, прогрессивные: Первой была бедная девушка Лиза, которая утопилась в пруду, а уже Вторым Лишним Человеком был мужчина, станционный смотритель. И! И! Возможно, когда старик был юн – по реальному календарю, кстати, это около сорока лет назад – как сходится время! – если бы он женился на юной бедной Лизе – что за союз, что за несчастья обрушились бы на их головы!.. М-да, они и так обрушились. Если человеку суждено стать несчастным – Господь найдет способ непредсказуемый.)

А вот и лишний Сильвио: угробил свою жизнь ради ответного выстрела и сгинул.

А вот и потрясающий и гениальный «Медный всадник», мудрый, трагический и беспощадный. Евгений – получите образ героя. Маленький человек, уничтоженный стихией Великой Империи.

А вот стойкий и благородный Дубровский, сгинувший неудачник.

Но была ведь и «Метель», и «Барышня-крестьянка», и стойкий винтик Империи маленький офицерик Петруша Гринев – конец хороший, свадьба и так далее. Но ни фи́га – высится надо всеми гигантская фигура Евгения Онегина.

Литературные достоинства и резоны прекрасны и понятны. Это уже антисентиментализм, антиромантизм, антисюжетность, антиприключенчество – недаром Пушкин любил Стерна. Для своего времени «Онегин» – это даже модернизм, отказ от канонов, циничная пародия на романтизм в письме Ленского, изложение стихами того, что до этого в поэзии не мыслилось: то есть тут нет ничего поэтического с тогдашней точки зрения, в тогдашней традиции, в тогдашнем представлении о сущности поэзии. Это был наглый эстетический бунт! И герой – не героический, не байронический гордый и отверженный одиночка разочарованный во всем – а благополучный разгильдяй, которому в жизни просто делать нечего.

Окей, мы все понимаем. Но на фи́га нам нужен по жизни сей никчемушник, трутень, циник и раздолбай? Он страдает? Это нам, знающим о колымских концлагерях, подвалах Лубянки, нищете колхозников, говорят об его страданиях?! Нам бы его проблемы, с его-то доходами, здоровьем и внешностью. Это обвинение обществу тому? Нас от своего-то общества тошнит, нам бы своих наследничков богатых дядей перевешать с конфискацией, нам о своей стране думать надо, как выжить дальше, как самому-то жить на зарплату, в частности!

Чему может научить Евгений Онегин? Что он может дать, передать, вселить в читателя хорошего, сделать его умнее и лучше, помочь жить как-то? Что надо иметь много денег, никаких обязанностей, метко стрелять, троллить друзей и влюблять в себя девушек? Знаете, для этого есть куча литературы специальной.

Значит – для понятности. На художественный уровень «Евгения Онегина» я не замахиваюсь ни разу – я восхищаюсь. Это сейчас. А в школе ни фи́га не восхищался. До фени было. В школе мы читали Евтушенко и Вознесенского, Багрицкого и Симонова мы читали.

Но что касается уровня идейного Евгения Онегина как одного из центральный героев русской классики – ладно, мне до фонаря, я человек уже устоявшийся, для меня он – экзерсис поэта, музейный персонаж, штрих юного образования. Но вот то, что Лишний Человек – сидит на троне русской литературы! – вот это симптоматично. Заставляет задуматься.

Если литература отражает жизнь – жизнь наша какая-то вывихнутая, и представление о ней вывихнутое, и идеал не то треснул, как зеркало, не то помялся, как пончик.

Пушкин был таки да великий русский гений, и вот великая «Сказка о рыбаке и рыбке»: нет сил вылезти из нищеты, подвалит чудо, выловишь ее, золотую, и голова кругом, разинешь рот шире возможного – и не быть старухе ни столбовою дворянкой, ни царицей, ни уж тем более владычицей морскою, а сидеть вечно развалиной у разбитого корыта, доживая век свой в воспоминаниях о былом величии и собственной незадачливости. Да это аллегория всей истории русской, всей жизни нашей многострадальной...

А вот и Лермонтов, а вот и Печорин!

Прекрасный «Маскарад» – профессиональный игрок Арбенин, катала то есть, на сегодняшнем новоязе, приклатненной фене, приревновал жену и отравил, а после рехнулся сам. Откровенный парафраз «Отелло». Но там – герой, чужак, защитник отечества – и полюбившая старого рубаку за «былое и раны» юная аристократка – а здесь современное бытовое снижение, опрощение: и он полумаргинальный никто, и она тихое безответное создание. Мораль? – есть: верьте жене, не верьте сплетням, и лучше не играйте в карты.

Байронизм сжигал Лермонтова! «Демон» как аллегория разочарованного всемогущества, отверженного гордеца. «Мцыри» как гимн борьбе и свободе (простите ради бога ходульный оборот, но правда ведь).

«Толпой угрюмою и скоро позабытой...» – писал Лермонтов о поколении. Чайльд-Гарольд, перепутавший стилистику страны, занесенный в реестры, вписанный в Табель о ран-

гах Российской Империи; Наполеон без Франции, без революции, без сжигающего честолюбия и жажды свершений.

И вот – шедевр, бриллиант! «Герой нашего времени». Язык как родниковая вода, мысль как серебряная чеканка, вселенская печаль как... я не знаю... бог заплакал над безнадежностью бытия!..

Закомплексованный задира Лермонтов, сам невысокий, коротконогий, широкий и плоский, хотя сильный, лысеющий с юности, злой и насмешливый храбрец – написал идеального героя. О, Печорин!.. Стан строен и гибок, густые кудри вьются, и вообще – абсолютный красавец, белокурая бестия, храбр, силен, ловок, хладнокровен, дерзок, обаятелен неотразимо, вдобавок богат и щедр. Истинный супермен. Ницшевский Заратустра по сравнению с ним просто тупой дикарь, дубина. Первый истинный супермен в русской литературе. Он же и последний.

Подвиги его подобны геракловым. Несчастную семью «честных контрабандистов» пустил по ветру, буквально уничтожил. Бэлу погубил, убил ведь. И семью ее разорил: брат в разбойники, отца убили, другой разбойник скорбит по утраченному сокровищу – любимому коню: прах и пепел! А вот прекрасный, гениальный психологический роман: «Княжна Мери». Восемнадцатилетнюю девушку расчетливо увлек так, что бедняжка в беспамятстве первая призналась ему в любви, на что ей сообщил, что она ему не нужна, и оставил ее страдать дальше без надежды. А над простодушным приятелем без причин поиздевался, озлобил его и пристрелил на дуэли. Да, годы спустя встретился со своим начальником крепости, где служил, старик бросился ему на шею – Печорин отстранил его холодно и говорил как с чужим; это называется не то заноза в сердце, не то в душу плюнуть. Завершение портрета: да в гробу видал я вас всех.

Во-первых, как вам нравится точная модель «Онегина»: девушку увлек от скуки и снисходительно-холодно объяснил, что она ему – фью!.. А друга поддел, завел и застрелил. А самому скучно, делать нечего. Хотя, конечно, томится и страдает. И средства есть. «А верно, было мне предназначение высокое». Это может сказать о себе любой незаурядный негодяй.

В школе на перемене, после урока литературы, мы прямо с возмущением сходились в том, что Печорин был подлец, именно негодяй, далее шли характеристики непечатные. Да если бы у нас кто такое сделал – набить морду, и пусть переходит в другую школу! И не фиг это «страдающий эгоист» – он че страдает? Если так смотреть – мы все страдаем, и побольше, чем он! Нам что, жить легче? Да ему делать не хрен, в колхоз его загнать – тогда узнает, как страдать, он рыдать будет по утерянному счастью!

Школьная постановка вопроса, что Печорин не гадина, то-се глубокий образ, нам была совершенно фальшива, надуманна, неприемлема. Ни один из нас не хотел бы жить рядом с таким человеком. То есть мы были ребята с нормальной здоровой психикой, с нормальными представлениями о жизни и людях.

А вот представление о жизни и людях у толкователей русской литературы, у ее диспетчеров и законодателей мнений... об этом мы вскоре еще скажем.

Но сначала – Гоголь. Чудные отфольклорные мотивы «Вечеров на хуторе...» и «Сорочинской ярмарки» – хорошо, понятно; и гирия на чаше весов славянофилов в очень остром тогда споре. «Тарас Бульба» прекрасен, герой-патриот, режет и рубит басурман, ляхов и жидов. Некоторые современники сравнивали с «Илиадой» по величественности, эпичности, героичности; Гоголю это льстило. Наша местная тоже «Илиада». (Сейчас вот не знаю – на Украине как: ведь в «Бульбе» всех побеждает русская сила, а дело на Украине; сложно живем...)

Бессмертный «Ревизор» – мелкий проходимец на фоне провинциальных идиотов.

Бессмертные «Мертвые души» – мелкий проходимец на фоне провинциальных идиотов.

А потом Белинский, неистовый Виссарион, произнес историческую фразу: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели»» – и Акакий Акакиевич Башмачкин, мелкий чиновничек ничтожный, встал во весь свой небогатый рост, и тень от него легла такая, такая! что в этой тени пошло все развитие великой русской литературы!.. И в XX век эта тень дотянулась, и

сейчас многие там в ней шевелятся и слова разные новые придумывают, якобы новые направления изобретают.

Как там пела прекрасная молодая Доронина Роберта Бернса в переводе Маршака: «И первым любовным туманом меня он укрыл, как плащом...» Любовным туманом, как плащом, накрыла чиновничья бедная шинель всю русскую литературу, и она стала искать свою судьбу «На рынке у самой дороги, где нищие рядом сидят...» Но в поэзии мужика-шотландца была гордость, и лихость, и абсолютная стойкость, и щедрая безоглядная любовь, и абсолютная нераскаянность в своей беспутной, но счастливой жизни, и готовность платить полную цену за бывшее счастье – и гордиться им, и радоваться жизни, и пить во здравие! Вот никогда не было этого в русской меланхолической поэзии, в русской чувствительной и сострадающей литературе. А вот кровь не та, дух не тот!

Лиза и Станционный смотритель были маленькие люди, Онегин и Печорин лишние люди, и все они были страдающие люди, хотя страдания барина и простолюдина – вещи бывают весьма разные.

Акакий Акакиевич – стал Главный Маленький Человек. Который не жил никогда хорошо – нечего было и начинать со своей шинелью. Но черт побери! То была эпоха Николая I Палкина! Он любил порядок во всем, государство выстраивалось по ранжиру, шинель была уставной формой одежды государственного служащего, а через него государство охватывало всех и вся. Шинель была формой одежды Империи!

Шинель, если чуть-чуть всмотреться, становится государственным символом, символом служения отчизне, умения устраивать свои дела, верноподданности, статуса.

А маленький человечек обгрызен, неполноценен, бессилен. На нем фокусируется вся безжалостность государства, вся черствость общества, весь эгоистичный сволочизм этой жизни. Новелла (повесть) удачна до крайности, гениальна. И! Гениальность автора – превращает героя, который жертва, который ничтожество, привидение, слух, – в гигантскую фигуру, знаковую, мощную! Кто – гигантский, мощный, аж символический, прославленный и знаменитый? Пострадавшее ничтожество. Доброе, беззащитное, безвредное, несчастное, – но ничтожество!

И!!! Ничтожество стало культовым!!! Положительным, достойным, хорошим, объектом жалости и всяческих гуманных чувств и мыслей.

И первая шеренга, геройская когорта русской литературы приняла в свои ряды еще одного... члена... жертву... носителя несчастий. Великого неудачника.

А у неудачника, между прочим, есть такое свойство: он распространяет вокруг себя несчастья. От него лучше держаться подальше, себе спокойней выйдет. Неудачник заразен, он инфицирует окружающих. Сочувствовать можно, помогать похвально, хотя бесполезно; но лучше все на расстоянии.

А у нас старательно отбираются неудачники – и просто внедряются в коллективное бессознательное! Методом вбивания со школы!

И тут, если остановиться и перекурить, вперившись взглядом в недавние для тех классиков времена, возникают картины интересные, а картины рождают вопросы.

Вот Россия в Семилетней войне, вот аннексия (недолгая) Восточной Пруссии с приведением жителей в российское гражданство, приведение поголовное к присяге российской короне. Вот взятие Берлина – пусть кавалерийский набег, пока Фридриха с армией не было дома, а потом мы быстро смылись – но все равно: брали же Берлин! И были герои сражений, и взлеты карьер, и слава русского оружия. И – ни хрена русские классики этим не интересовались.

Завоевательные походы Румянцева, Итальянская кампания и Швейцарский поход Суворова, грандиозный век Екатерины, Потемкин с завоеванием и освоением Новороссии и Крыма; основание Одессы и Севастополя, закладка и стремительное создание Черноморского флота, головокружительные карьеры вельмож – людей титанического духа, стальной воли, жадных и коварных, как дьяволы, ослепительно разбогатевших, как крезы; и – ничего! Для нас сегодня

– ну ничего же нет в русской классике обо всем об этом. Не колышет их. Как не своя страна. Ода Державина на смерть Суворова – кто это сейчас читает, и вообще слышал, кроме филологов. Что мы знаем о взятии Очакова и завоевании Крыма – события важнейшие в русской истории, массы людей коснулись? А: «Сужденья черпают из забытых газет времен очаковских и покоренья Крыма!» Все? Так точно, ваш-бродь, усе.

Ну-у, а Ломоносов (по главной версии), неграмотный крестьянский сын, с обозом дошел до Москвы – и стал гордостью русской науки? Да на фиг.

А русские первопроходцы, колонизаторы, наши фронтиреры, освоители и присоединители Сибири, Камчатки, Аляски, фактории в Калифорнии? А, не больно-то и интересно.

В 1820 году Беллинсгаузен и Лазарев открыли Антарктиду. Новый материк. На минутку. Который веками предполагали, предсказывали и безуспешно пытались обнаружить. Обледенелые парусники у Южного полюса! Но, сами понимаете, к русской литературе это отношения не имеет и писателей не затрагивает.

Мы безусловно согласимся, что искусство – и научные открытия, а равно прогресс социальный, политический и во всех прочих формах – вещи разные, и предметами занимаются разными, и литература не есть описание прогресса, но изучение и демонстрация души человеческой и акт эстетического креационизма, если допустимо так выразиться. Но!! Я-то о чем!! О том, что в российской жизни было кое-что, и даже немало, что могло служить чувству гордости в человеке, сознанию своей причастности к великим делам, подталкивать то есть к оптимистическому взгляду на жизнь и человека: вот что человек может, вот что человек делает, вот он каков, на какие трудные, немислимые, фантастические, героические вещи он способен!

Да фигу. Не колышет. Знаете, это ужасная мысль, недостойная, но: главного героя русской литературы, маленького человека, а также лишнего человека, не волнует вообще ничего – кроме собственного благополучия и собственных несчастий.

Он не винтик Империи – он червяк Империи, который корчится под ее пятой или изнывает от скуки в ее кармане. Мы еще вернемся к этой мысли.

Едем дальше – видим больше.

Гончаров Иван Александрович. Обломов. Лежать на диване. Безволие. Прекрасная душа расслабилась донельзя и скисла. Сгинул в сытости и лени. А вот его же Адуев («Обыкновенная история») – подергался по молодости, пострадал, повибрировал – и стал делать бессмысленную чиновничью карьеру. А его прожженный дядюшка-циник-резонер-наставник движется во встречном направлении – разочаровался в карьере, проникся покаянной любовью к кроткой жене и бросил службу вообще, лечить ее за границу поедет.

Обломов, от которого произошло даже слово из активного словаря «обломовщина», превзошел влиянием самого Акакия Акакиевича. Как славно и спокойно ничего не делать. О, автор скорбит, осуждает, показывает и предостерегает: какой милый, тонкий, добрый человек, и вот – эта сонливость русская традиционная, сон послеобеденный, эта любовь пожрать, эта покладистость... губят, понимаешь. В Спарте его били бы палками, заставляли бегать целый день с оружием по горам, кормили черной похлебкой, учили терпеть боль – ничего, не сдох – так стал бы человеком. Покажите нам такого Обломова! Чтоб один сдох – а второй стал человеком! Но: особенность:

Национальная особенность русской классической литературы в том, что она ненавидит активную жизненную позицию. Не приемлет. Такие испытывает чувства, что в победу над несчастьями мы не верим, к величию державы отношения не имеем, героев в упор не существует – зато над всем, заслуживающим внимания, можно только плакать!..

Нет, я не прав. Вот вам пример очень активной жизненной позиции: студент с топором, Раскольников наш, который не тварь дрожащая. Раскольников – это анти-Обломов. Наш ответ лорду Керзону.

Живет история, как Некрасов с Григоровичем (вариант – без Григоровича) ворвался к Белинскому (вариант – ночью) с криком: «Новый Гоголь явился!» – и кинул на стол рукопись «Бедных людей».

Некрасов и сам был прекрасен. «Выдь на Волгу – чей стон раздается?» «Ни стоны из ее груди, лишь бич свистел, играя. И музе я сказал: гляди – сестра твоя родная». «Есть женщины в русских селеньях... – в горящую избу войдет». Что значит войдет – она живет в ней! «Кому на Руси жить хорошо»? Да всем плохо! Одним концом по барину, другим по мужику. Богатые тоже плачут. Крестный, стало быть, отец Достоевского.

Жизнь «Бедных людей» беспросветна – достать чернил и плакать, как сказал в следующем веке другой поэт. «Униженным и оскорбленным» живется вряд ли лучше, как вы понимаете. И вот, пережив гражданскую казнь, каторгу, солдатчину, Достоевский вернулся в литературу. Протест гневный зрел в нем! И вызрел. Топором по маковке старуху-процентщицу, ну и заодно сестру ее глухонемую. А вот чтобы доказать себе, что героическая личность выше толпы и на все имеет право.

То есть Достоевский примеряется к Наполеону с линейкой и микроскопом школяра: где Наполеон в громе армий и кипах договоров переделывает всю Европу – там русский студент убивает старушку. Ему плевать на цель и масштаб деяния. Главное – я тоже могу убить, раз мне надо. То есть: великий классик равняет уголовника, который режет прохожего за кошелек – с повелителем Европы, обуреваемого идеалами и пытающегося установить мир с соседями на своих, однако, условиях, обеспечив могущество родины. Существенно только одно: могу убить или нет.

Достоевский довел идею до абсурда, методом предельного упрощения сведя проблему Наполеона к Раскольникову – чем Наполеона безусловно принизил и заклеил как идею и дьявольское создание. Но! В результате! Там, где во Франции Наполеон – там в России большой и бедный студент-недоучка с топором. Каждому свое. Писателю отдельный респект.

А ведь юный Наполеон был гораздо беднее Раскольникова. Жил впроголодь, на нищенское жалованье еще брата содержал, дела семьи посылно устраивал. Но натура была иная! Писал романы, искал перспективной службы за границей, рыл землю, был убежден в своей удаче и славе! И когда случилась революция и удача стала возможна – он сам создал ее, был готов к ней более, чем кто-либо другой!

«Преступление и наказание» – убийца и проститутка. О, он мыслит, она благородна, им открывается Евангелие – и рука об руку в новый счастливый мир. «Идиот» – идиот. Единственный благородный человек среди уродов – нормальных людей. Так они тоже ненормальные: истеричная содержанка и истеричный же купец с наклонностями убийцы, каковые он и реализует. Злая пародия на «Кармен». Все прочие персонажи – люди с собственными вывихами. И «Братья Карамазовы» недурны. Содержанка, старый развратник, моральный урод-убийца – ну и, конечно, правда за тем, кто ближе всех к православному богу.

Вот три главных романа великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского – и вот три главных их героини: три проститутки. Одна уличная, две на содержании. При каждой – по старому развратнику, любителю свежей клубнички. Три главных героя: убийца, сумасшедший эпилептик и монаший послушник.

Я понимаю. Есть и убийцы, и сумасшедшие, и проститутки, и содержанки, и даже купцы и монахи. Но здесь речь идет о главных героях главного писателя земли русской – и что? именно убийцы и проститутки есть самые характерные герои народа? А получше никого нет? Есть – парнишка из монастыря. Раскольников, Мышкин, Рогожин, Смердяков, так к ним еще Верховенского из «Бесов» прибавьте. И их подруги: Соня, Настасья Филипповна, Грушенька. Скажите: а честные женщины в России были? А вдруг да кто женился по любви, медовый месяц провел, через полвека в кругу детей и внуков золотую свадьбу отметил? А вдруг кто жизнь в сражениях провел и жив остался, выслужил чины и ордена, уважали его за дело? А еще были

врачи, учителя, булочники, купцы без психопатии, и даже профессора водились в России, даже ученые иногда случались. Архитекторы были, инженеры, свободные казаки на юге жили да от Днепра до Забайкалья. Вы понимаете: кто-то пахал землю, ковал металл, шил одежду, строил дороги, издавал газеты и ловил рыбу в холодных северных морях. И ни хрена!!! Проститутки и психопаты!!!

Эти письменники бывают со своими странностями, знаете. С творческим взглядом на мир. Избирательное зрение. И провалиться мне на этом месте – но иногда в их творчестве прорываются их комплексы. Ведь что ни пишет писатель – он все равно всегда пишет свой автопортрет. Это он так видит мир, это его мысли и чувства воплощаются в героев и их отношения и поступки. Собственно, это должно быть даже банально, то, что я сейчас сказал; иначе и быть не может.

Вот Тургенев был, в отличие от большинства литераторов, обычно людей хиловатых, щупловатых, закомплексованных и так далее, не мачо, не суперменов – Тургенев был красавец. Рослый, стройный, представительный, вид имел холеный, густые русые волосы выются, баритон бархатный: смерть дамам. Но его несчастный роман с Полиной Виардо, которая вила из него веревки, а он терпел любые унижения, только деньги летели, окончательно сформировал его (после малоприятного детства, где отец ушел от нелюбимой матери с ее деспотичным характером). Некрасивая и блистательная певица Виардо жила с мужем, имела детей, меняла любовников, а Тургенев, уже прославленный писатель, в Европе – самый известный русский писатель, жил обычно как бы в их семье. У них с Полиной был общий ребенок, но она держала бедного Тургенева в железной узде, эта «сажа да кости», была у нее такая кличка, пардон, прозвище в кругах света.

Тургенев писал хорошо! И романы его хороши! Они и сегодня прилично читаются, и мысли в них разумные, глубокие встречаются, и язык чист и легок. А вот и герои. И их судьбы.

Базаров. Новый человек. «Отцы и дети». Реалист, «мастерской в природе», гражданин, начинающий ученый, доктор. Умер. Заразился и умер. Молод, здоров, вынослив – ну что? Порезался, заразился, умер. Скажите: Тургенев его с какой целью убил, какой смысл вложил? Что не будет русского ученого, не встанет бедный разночинец вровень с реликтовыми аристократами? Но вдохновляет это, конечно, сильно. Помечтал? Пожалуйте на кладбище. Не фиг помногу планов строить.

Старшее поколение, Павел Петрович, в прошлом блестящий офицер, опустошен несчастной любовью, похоронил себя в провинции. Младшее поколение, Базаров, поступился принципами рационализма, влюбился в красивую вдову – безответно, будьте уверены. Это была разборчивая вдова. А счастливой любви не бывает, по Тургеневу.

Что мешало Одинцовой полюбить резко выделяющегося, незаурядного, эпатажного и энергичного, перспективного Базарова? Женщины таких нюхом чувствуют: это мужчина, не чета окружающей мелочи, это личность, у него великие цели, он в обаянии большого взлета и циничной суровости! Она ж в своей глуши со скукидохнет. Выйти замуж за Базарова, а ему на ней жениться: оба счастливы, нормальная семья, материальный вопрос решен, а кстати и неупоминаемый тогда сексуальный, можно спокойно заниматься наукой, приносить пользу людям, все ведь хорошо – ни войны, ни болезней не было, ну ведь нет никаких же серьезных препятствий. А вот фиг! Не переступит этот волк флажков! Да не волк ведь, а собака крашенная... это я уже о Тургеневе...

Что осталось от Базарова, кроме бедной могилки? Слово «нигилист», оно и раньше было, но теперь вошло в обиход.

Инсаров. «Накануне». А вот и женился! А вот и счастливы! Оба молоды, красивы, умны, свободны, полюбили друг друга – ну что ж не жениться, в конце концов. И оба – новые люди, имеют идеалы, он так вообще борец-революционер, и вместе с Еленой он едет бороться за освобождение родной Болгарии от турецкого ига.

Как вы уже догадываетесь – не доехал. Вы сейчас будете смеяться, но Инсаров тоже заболел и умер. Простудился. Причем такой был здоровый, сильный молодой человек, там к ним как-то пристала пьяная компания еще в России, период ухода, так он самого наглого и здорового из приставал просто поднял в воздух и кинул в воду. А тут – простудился и умер.

Все может молодой и крепкий литературный герой, кроме одного – если автор решил его убить. Тогда хана. Молодой, здоровый, счастливый – отчего умер?! Отчего надо – оттого и умер. Простудился. Порезался. А надо – упал бы с лошади, застрелили случайно на охоте или поел на ночь грибов с кашницей.

Вечные святые слова «Первая любовь» – прекрасная такая и печальная была повесть у Тургенева. Юный Владимир любит Зинаиду, Зинаида любит его отца, отец вроде и не любит, и как бы любит Зинаиду, она ему покорна, но у него долг перед семьей и обязанности, он ее бросает, но сам тоже страдает. Любовный треугольник по-русски: несчастны все трое. Шок – это по-нашему. Ей-богу, напоминает анекдот, простите за неуместное глумление: русский треугольник – барыня любит кучера, а кучер барина.

Финал: отец умер вскоре от инсульта, Зинаида умерла при родах, выйдя замуж за нелюбимого, травмированный Владимир грустит всю жизнь. Грустит – это хорошо, ладно, все грустят, но зачем надо уморить обоих?

Тургенев просто ненависть испытывал к счастливой и взаимной любви. Самого мучили и водили за сладким – так и весь мир трагичен, у всех плохо, никто не счастлив. А у самого имение немалое, и Катков ему 400 рублей за лист платил – это сумасшедшие были деньги, Достоевский вечно завидовал, что ему вчетверо меньше. (Лист – нет, это не страница, печатный лист 32 страницы, потом фальцуется (складывается) и обрезается; тогда не обрезали, были ножи для разрезания книг.) Я понимаю Виардо: от этого талантливого красавца разило мировой безнадежностью.

Если Лермонтов был Чайльд-Гарольд русский гусарский поэтический... Тургенев – это Чайльд-Гарольд диванный. Чайльд-Гарольд либеральный барин.

Давно умный человек сказал, что несчастное детство есть условие возникновения писательского дара. В принципе и Пушкин с Лермонтовым были не шибко-то счастливы в детстве, не было там родительского тепла, и Некрасов с Тургеневым не очень... но что ж это за такая странная селекция у нас происходила!..

«Тургеневские барышни» – это что? Образованные, застенчивые, целомудренные, сверхчувствительные, доверчивые и бескорыстные – а еще неумелые, непрактичные, немного не от мира сего, романов не крутят, о положении в обществе не думают: вяннут-пропадают, в народе это называется.

Господа! А ведь Лиза и Акакий Акакиевич, Онегин и Печорин, Обломов и Адуев, Раскольников и Мышкин, Базаров и Инсаров – господа, они же все бесплодны, господа! Они все лишние, все неудачники, все плохо кончают, никакого следа не оставив на земле! Это же проклятие какое-то!

И нет в них душевного величия, сносящих горы страстей, и цели великой нет, и идеалов нет, а если вдруг есть что – так нелепая, негероичная, случайная и бытовая смерть – отнюдь на самом деле не случайная, а закономерная, вот в чем горе! – смерть как неизбежная подробность жизни вырывает очередного дорогого товарища из наших рядов – пока он ничего не успел совершить, понимаешь.

Но вот вершина русской классики, какая глыба, какой матерый человечине, кого поставить рядом с ним? некого! – граф Толстой Лев Николаевич, этот жизнь знал, этот в гробу видал всех, кто ниже его ростом, как говорили в детстве у нас во дворе. Игрок, бабник, гуляка, разгильдяй, недоросль, юнкер, задира, боевой офицер крымской кампании, командир артиллерийской батареи – и вдруг автор повестей столь тонких о детстве, отрочестве, юности, полных

такой психологии, таких деталей, что диву давались, откуда что, и он же – автор полурепортажных, откровенно реалистических «Севастопольских рассказов», уж эту жизнь понимал.

Вершина вершины – «Война и мир». Вот самый... устремленный к большим делам, что ли... к высоким целям и служения человечеству, и (для себя) заслуженной славы – князь Андрей. Первая жена умерла родами, вторая женитьба не состоялась по его, в сущности, вине – сначала последовал воле самодура-отца с годичной отсрочкой свадьбы, потом честь и гордость заставили отказать невесте, которая по юности лет и буйству гормонов, не перенесла одиночества, вдруг бешено влюбилась в светского красавца, хотя не было измены, как это раньше называлось, а была долгая тяжелая нервная болезнь. (А вы чего ждали, бросая на год прелестную шестнадцатилетнюю девушку неизвестно чего ради?) В результате князь Андрей гибнет дважды: сначала со знаменем в руках впереди атакующих солдат – в позорно проигранном Аустерлице – но выжил! но вывода сделать из своей смерти и спасения все же не сумел! – а уже насовсем – при Бородине: из гордости и глупо, отказавшись упасть на землю перед вертящейся шипящей бомбой. И первая жена умерла, пока он подвиги совершал глупые, красивые и пустые, и вторая не состоялась из-за гордого и глупого позерства, а ведь любил он ее, и она его, да уже поздно было.

Самый значительный герой великого романа терпит в жизни полное фиаско. А ведь этот еще из лучших, заметил Атос.

Но конец в общем хороший, что традиционно для литературы вообще, и несколько не характерно для литературы русской в частности. Автор мастерски свел все линии в узелки. Богач Пьер женился на Наташе, она счастлива семейной жизнью, а он занимается в кабинете некими неясными умственными занятиями; есть мнение, что он может быть близок к декабристам. Вообще Пьер неуклюж, силен, чист наивной душой как хрусталь, честно пытается понять мир и незаслуженно чрезвычайно богат, унаследовал состояние. Этот персонаж вызывает в читателе что угодно, но только не близкие чувства. А уж Наташу за полное растворение в семейных заботах избивали все, кому не лень.

А очень хороший и крайне незатейливый Николай Ростов женился на княжне Марье – даром что некрасива, но глаза какие – он ее очень кстати полюбил, потому что сам обнищал, а она очень богата, но брак не по расчету, это бы его морально запачкало в наших глазах, конечно. И стал он примерным рачительным баринном.

Заметьте: естественность, любовь, деньги и счастье подаются в одном флаконе. Это принципиально!

Ну, а идеал человека – это крестьянин Платон Каратаев. А потому что не дергается, а полностью подчиняется обстоятельствам, плывет по волнам судьбы, по течению жизни – в том и мудрость, и правда, так и надо.

Здесь надо понимать что. Чего нет ни у одного толстооведа, потому что литературоведы философией не особо интересуются, для них верх необходимой приличному человеку философии – это Ницше и Бердяев. То есть поэт-метафорист и рассуждающий о самых общих предметах без связи между ними болтун. Зато это доступно пониманию и принято. Еще Шпенглер и Шопенгауэр упоминаются. И экзистенциализм с постмодернизмом – полдюжины имен, не вникая глубоко в суть. О, слушайте, да они же образованные ребята, они же до фига знают, чего же я злопыхаю?..

Значит, так. Углубившись всей мощью ума, отдохнувшего в молодости в приключениях и удовольствиях, углубившись в постижение мудрости веков, Толстой принял для себя объективистскую социологию Конта. Это было тогда очень принято в науке, революционно, но уже признано, меж людьми учеными устоялось. Ну, очень кратко сейчас – сводится политическая философия Конта, позитивизм в эволюции социальной, к тому, что законы Истории – объективны! И от воли отдельных людей политические процессы не зависят!

А зависят от общего хода вещей: климат, расстояния, техническое развитие, история народа и дух народный, но самое главное (для нас сейчас) – это такое внутреннее чувство людей, поступающих вроде по собственному желанию для собственной пользы, что вот по жизни получается поступать вот так – оно объективно и правильно. То есть «невидимая рука рынка» Адама Смита – но уже не только для экономики, а всего устройства человеческого общества вообще. Строительство городов, ведение войн, изменение политического устройства государств – это все объективный ход вещей, который проистекает из частных желаний людей, но помимо их воли, сверх их личных желаний.

Ну типа: хотят свободы и равенства для всех – а получается гильотина, Наполеон, европейские войны и континентальная блокада. При этом хотели-то: кто должности, кто деньгу зашибить, кто врага наказать, кто что. А в результате – творится история, совсем не та, что люди себе воображали, совершая свои действия.

Вот по этой философии в романе Наполеон – придурок с манией величия: он думает, что все происходит по его воле, а на самом деле – ничего подобного, все своим порядком как бы само идет, подчиняясь неисчислимым обстоятельствам и мелким отдельным волям непредсказуемым на мелких отдельных участках. Вроде как Николай Ростов самочинно ударил с эскадром по французским кавалеристам – и выигралось все сражение.

(Здесь Толстой интереснейшим образом соединяет антагонистов – бывшего Конта и будущего Поппера, но сейчас мы просто не можем об этом говорить, и так вовремя, похоже, не укладываемся.)

Поэтому. Наташа, Николай, Марья, Пьер – хорошие люди. Они естественные. Не дергаются. Не имеют ложной амбиции менять своей волей мир. Плывут по течению, исправно гребя.

А князь Андрей – объективно неправильный, ошибочный, даже вредный для жизни – он не простой, не добрый, не душевный, все ищет смысл, подвиг, предназначение: нет ему места в живой жизни, по собственной вине он из жизни исторгается.

О'кей: хотите ли вы быть хозяйственным баринком, или толстым неуклюжим добряком-богачом, или красивой и сильной плодovitой самкой, или кем еще?.. А Платоном Коротаевым хотите? Живите на зарплату, платите ЖКХ, слушайтесь властей, голосуйте за Путина – и улыбайтесь благодно! А вам не кажется, что генетический барин Толстой изобразил в Каратаеве идеального подданного деспотического государства? Подсознание не обманешь!

Платон Каратаев – это буддизм применительно к самодержавной империи. Толстой думал, что он конкретизировал поведение истинного, объективно правильного человека в согласии с объективизмом Конта. Но его мозг думал иначе – своими неподконтрольными участками.

Так кто там еще? Васька Денисов? Славный сержантско-лейтенантский идеал. Долохов?..

О, Долохов – это фигура очень интересная, недооцененная. Видите ли. Пара Долохов – Пьер – аналогична паре Печорин – Грушницкий или Онегин – Ленский. Ему нравится обаять друга – и изводить – и пристрелить на дуэли. Это естественное развитие образа лишнего человека романтического периода – он стал циничнее, адаптировался социально, вынужден как-то зарабатывать на жизнь. И одновременно он – маленький человек, который не хочет мириться со своей участью. Он имеет волю, ум, обаяние – и вот кульбит: маленький человек нагибает больших и подчиняет своей воле! Магната Пьера Безухова, благополучного Николая Ростова, блестящего Курагина тоже использует!.. Этот маленький человек презирает сильных мира сего и сознает себя сильнее их, храбрее, умнее. Старушка-мать, горбатая сестра – вот единственные родные ему люди, там его любовь, там его сердце, его подлинная натура. А здесь – ледяной блеск безжалостного супермена.

Он так же бесстрашен и жесток на войне. Он отличный боец!

Как вам нравится такая эволюция маленького и лишнего человека? Реализм наступил, господя, век шествует путем своим железным. Толстой был гений в «Войне и мире», а если мы с чем не согласны – так всему есть тут свое объяснение, свой замысел.

Но! Имеется ли в виду Долохов как положительный герой и пример для подражания?

Толстой принципиальный противник героизма и любого идеализма. Он уже проповедует просто жить, не дергаясь. И тогда всем достойным людям повезет само собой: богатые женятся на бедных, пустоцветы останутся пустоцветами, пустых карьеристов оставим их доле, все неплохо. Элен умерла, Анатолю оторвало ногу, старый князь преставился, жизнь удалась.

Но если вы не возвращаетесь среди князей, графов и богачей, ваше дело хуже. Хотя могут, как Платона Каратаева, помянуть в барской усадьбе добрым словом. Аристократ, авантюрист, талант, Толстой молодой – воспетого литературой и ее средой маленького человека презирал, и определил ему правильное применение: достойно служить высшему сословию, не бунтовать и принимать свою долю благостно. (Опрощаться он будет к старости...)

Книга гениальная, но хороший конец сулит только элите общества. Такие дела.

И вот главный женский образ русской литературы – затмивший Татьяну Ларину и Наташу Ростову, не говоря о соцветии тургеневских барышень. Анна Каренина!

Это написано уже позже, зрелым человеком к пятидесяти годам, много передумавшим и переоценившим.

Анна Каренина – это эволюция Наташи Ростовской, а точнее ведь не эволюция даже, а мутация, – которая не встретила Пьера, и с Андреем и Анатодем не вышло, и в конце концов вышла замуж не по расчету даже, а ну надо же выходить замуж, ну все так живут, принято это, без этого в жизни нельзя, плохо, это несостоявшаяся жизнь, – и любовная страсть осталась тлеть внутри нее, в латентном состоянии, написали бы в диагнозе.

Ни она, ни Вронский ни в чем не виноваты. Роман замужней дамы – обычнейшая вещь, только приличия в обществе соблюдать надо. Два взрослых, молодых, красивых человека любят друг друга без памяти – почему такие терзания, что за пародия на «Тристана и Изольду» с конфликтом чувства и долга? Долга, ломающего им души, хребты ломающего, жизни – это что за долг, да перед кем? Что, уже не в любви правда?

Несчастливая Фру-Фру, символ их судьбы – это обязательно? неизбежно?

(Вам не кажется, что Толстой периода «Войны и мира» решил бы конфликт иначе: пустоцвет Каренин был без жалости предоставлен своей участи, естественная жизненная любовь без особых размышлений соединила бы Анну и Вронского, они плюнули бы на свет и счастливо вели хозяйство в деревне, он бы еще лошадей разводил?)

Я долго не мог понять, что же именно в книге вызывает у меня отторжение. Вот! – сцена первого любовного свидания, после того как. Она лежит ничком, чувствуя себя погибшей, все ужасно, упадок духа, скверно. А он, он: бледен, челюсть дрожит, все неловко, чувствует себя убийцей. Да вы с ума сошли! Темпераментная женщина в цвете зрелой молодости – и красавец-аристократ-офицер, который уж амурных удовольствий познал, будьте уверены. Что случилось?! Где ласка, истома, благодарность, нежность, тихое счастье произошедшего уже после взрывов страсти, блаженное чувство «провались все пропадом, все решаемо, завтра разберемся, сегодня наша ночь (день)»?! Где и отчего заклинило мозг у графа, что он впал в брезгливую ненависть к сексу в самых счастливых его проявлениях?!

(«А я, батенька, в молодости был ужасный блядун...» – мечтательно сказал Толстой, если верить воспоминаниям Горького, который и сам был не монах, им там было о чем поговорить.)

Сцена эта совершенно фальшива, это насильственная морализаторская конструкция, Толстой вживается в роль инквизитора души: «прав был парторг: ме-ерзкое это зрелище». Они-то, в жизни, вели себя иначе! Но ему было нужно – чтобы так. Долли с Левиным на земле своей живут – а той паре в пустом аристократическом свете не жить: где свет – там и грех, он и пагубен. Спасибо.

И вот Анна, созданная вся для счастья в этой жизни, бросается под поезд, а Вронский, ей верный и ее достойный, уезжает сгинуть на дальней войне.

Книга нравоучительна и душеспасительна, и тем отвращает. Левин как реинкарнация Николая Ростова-помещика, поумневшего и образованного, – и Вронский как Болконский, только мельче и пустее. Левин и Долли в качестве положительного примера, такого библейско-патриархального характера, и трудно, и тягости есть, а все-таки смысл жизни вот он – поближе к народу и земле, семье и хозяйствованию. И это провоцирует укол садизма, ассоциации от противного чеховские об «идиотизме сельской жизни» и «свинцовых мерзостях русского быта».

Не вдохновляет «Анна Каренина» на подвиги, не укрепляет веру в возможность счастья. Но и не наполняет высокой гордостью за величие человека, пусть и погибшего в борьбе с жестокими обстоятельствами, но показавшего все величие своего несгибаемого духа!

Вот чего нет в русской классике:

Величия и героизма греческой трагедии. Нет.

Трагедия – это смерть героя. Смерть слабака, червяка, жалкого никчемушника – это не трагедия. Это тягостное (но для посторонних – мелкое) бытовое несчастье.

Для этого не обязательно становиться на котурны. Но даже в смерти затравленного охотничьей сворой волка – больше величия и достоинства, чем в гибели жалкого чиновника. Да лучше пей, лучше выходи с ножом на большую дорогу – только не смей скулить и сдаваться! Сдохни – но побеждай! Н-но – это не для нас...

«Собор Парижской Богоматери» – это трагедия великих характеров. «Труженики моря» и «Девяносто третий год» – это трагедии. Можно быть плебеем-работягой – но быть героем! Можно быть шутком, презренным фигляром – но быть героем! – «Человек, который смеется». Ну да, Гюго романтик, Толстой его принципиально отвергал и опровергал, а у нас тут все сплошные реалисты.

Бальзак. Реалист! «Полковник Шабер». «Отец Горио». Да даже «Гобсек», полубезумный ростовщик, – но какие великие характеры, исполинские натуры! Они могут вызывать жалость – но все равно уважение, все равно признание их крепости и душевного величия! (Кстати: сравните величие Шабера и сломанность Протасова из толстовского «Живого трупа» – а сюжет тот же, взят бальзаковский.)

Почему Джованьоли написал «Спартак», а в России никто не написал «Дмитрий Храбрый», скажем?

Почему в народе пели про Стеньку и Пугачева, а писателям нельзя, это ясно: цензура самодержавия, спасибо еще Пушкин взялся за «Историю пугачевского бунта».

Почему в России не было и не могло быть Джека Лондона – великого писателя своей эпохи, певца героев в «простых людях» тех самых, романтика и продолжателя Киплинга, а уж у Киплинга рассказы о крутой жизни солдат, чиновников и работяг – как раз героический реализм, стоит ввести такой термин. Просто живут и работают – а сколько сил и терпения нужно!

И не было веселого, смешливого и вдруг печального оптимиста О. Генри.

Даже печального Диккенса – а все-таки который любил хорошие концы, и у него крошки Доррит выходили замуж, Оливеры Твисты выходили в люди, и после злоключений и лишений хорошие люди начинали счастливую жизнь, – да, так Диккенса у нас тоже не было.

Почему, почему не мыслятся у нас «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо» – веселье, дружба, авантюра, благородство, справедливая месть и торжество добра и правды?

У нас была песня, о, позднее: «Это даже хорошо, что сейчас нам плохо». Примечание: сейчас – это сейчас, именно всегда сейчас. Смех смехом – но что же, любим мы это дело: страдать?..

И возникают тогда вот какие мысли насчет литературы нашей – и нас как ее и автора, и адресата.

Мысль первая. Об интеллигенции.

Интеллигенция – почему типично русское понятие? Потому что с начала XVIII века Петр стал посылать отобранных людей за границу, на обучение. И они возвращались, кто возвращался, не только набравшись образования, но и подхватив западный образ мыслей и представлений: насчет прав человека, свобод, справедливости и так далее.

С этого момента в части образованного сословия – как правило это были люди незнатные, больше по части наук и искусств, техники, строительства, корабельного дела, учительства и медицины, металлургии, химии – типа будущие разночинцы, – в них соединялось продвинутое образование, знания, квалифицированность профессий – сочеталось это с вольнодумством, представлением о правах и свободах, о достоинстве личности, о гражданском самосознании, о чувстве собственного достоинства. Чего до Петра, после Ивана-то Грозного тем паче, в России и близко не было в принципе! И эти люди выделились в своего рода сословие, имели образ мыслей не такой, как весь остальной народ в стране.

А в стране было самодержавие, деспотия, рабовладение и цензура.

Таким образом, интеллигенция естественным порядком оказалась в духовной, интеллектуальной, внутренней оппозиции к власти. Ибо в России: власть – все, человек – ничто.

А оппозиция власти – это сознание невозможности карьеры, свободной самореализации, социального и, соответственно, вообще жизненного успеха, если ты не будешь прогибаться под власть. Или преуспевание и достижение больших целей, сообразуясь с законами и порядками тирании, – либо сохранение благородства и достоинства, но тогда жизненной удачи в России тебе не видать.

Из этого следует – что? Что удачники презирались, в них видели знак скверны и подлости, заискивания перед верхами, – а человек порядочный, честный, благородный и чистый душой – был обречен на жизненное поражение. Либо – вариант: нечего ему здесь делать. Или Лиза в пруду и Башмачкин без шинели – или Онегин изнывает в безделье, Печорин дурит на Кавказе, а Обломов спит на диване.

Примечание к мысли первой: но ведь дворяне-то еще не интеллигенты? Они-то как раз привилегированный слой, им в государстве пути наверх открыты. – А дворяне фрондируют! Надул ветер Французской революции мысли о прогрессе и свободе. Судьба Филиппа Эгалитэ дурным головам покоя не дает. (Через сто лет, к 1917, они с энтузиазмом вымостят себе дорогу в расстрельные подвалы.) Они тоже хотят: «Пока свободой горим, пока сердца для чести живы!..»

Короче: среди образованного российского сословия было принято самодержавия стыдиться перед прогрессивными странами – Англией, Францией – и полагать необходимым отмену крепостного права, цензуры, введение конституции, равенства сословий перед законом, и вообще права личности чтобы, а не произвол околоточного надзирателя.

Мыслящие образованные люди от государства с его идеологией дистанцировались, были им недовольны, многое презирали.

Так в литературе же это неизбежно отражалось! А как иначе?! Подсознание, образ мыслей, информационное облако среды, французские и английские образцы, Рим с Гракхами и Брутом, Афины с Сократом и Периклом: демократия, благо народа!

Мысль вторая – логичная и нехитрая:

Все знаковые герои русской классической литературы – жертвы и следствие самодержавия и цензуры: им всем плохо в этой стране!!! Они не карьеристы, не приспособленцы, не стяжатели, не честолюбцы и не воры – они нормальные люди! И как нормальные люди – они не могут состояться! Не могут жить хорошо, по-человечески, осмысленно и благополучно, не могут добиться удач и побед.

То есть на самом деле, в жизни, они могут. Выкупившие себя крепостные, ставшие купцами и фабрикантами, самородки-изобретатели, генералы из простых казаков, много разных. Но! Русская литература есть отражение ненависти, неприятия, несогласия, раздражения образованного сословия против своего самодержавного государства.

А поэтому:

Удачники эту литературу мало интересуют. А интересуют жертвы – как фигура несогласия и обвинения власти и строя.

...Разумеется, вот так прямо и сознательно, рационально, никто себе не формулировал и задачу не ставил. Но по сути – вот такая механика, вот так оно выходило.

Мысль третья: они принципиально не борцы и не удачники. Ибо бороться с этой машиной писателям казалось бессмысленным и невозможным. Глупым. А кроме того – цензура! За экстремистские высказывания – каторга, солдаты, но к счастью – цензор не допустит, бдит!

Что же касается удачи: удача означает, что и в этом государстве с его порядками можно делать дела и быть счастливым. То есть – это акт соглашательства с властью, акт примирения, акт признания, что под этой властью, по этим порядкам – и можно ведь жить хорошо и счастливо. А вот это уже подлость, господа, это предательство идеалов.

Культ личного успеха? Он нам чужд, это эгоизм и суетность, мерзкое себялюбие.

Русскому человеку внушено в генах: от тебя никогда ничего не зависит, все решает власть и начальство, так сиди тихо и не рыпайся. И литература подхватывает: оу йес, так и есть, он сидит и не рыпается, вот он, русский человек! А рыпнется – так горе одно, себе и другим. Человек отчужден властью от свершений и великих дел державы – ну так он о великих делах и общей пользе даже и не думает. (Радищев вот когда-то подумал – и сел мигом, и книжку уничтожили и запретили.)

Вот так, как ежа против шерсти, русская литература родила своего навечно несчастного героя. Как аллегория своего видения жизни.

Оппозиция власти превратилась в оппозицию силе, удаче, победе, стойкости, выносливости, целеустремленности.

Оппозиция власти превратилась в оппозицию активности, напору, жизнелюбию и веселью, оптимизму и хорошим концам.

Вот так оно сложилось в русской-то классической литературе.

«Записки из подполья» нашего Достоевского – это ведь манифест идеологии русской литературы образованного сословия. Ага. Это ее нижний этаж, подвал, бейсмент, чулан, подсознание.

Ну, и мысль четвертая.

Вот из этой литературы произошло известное представление о женской сути России, ее женской душе. Обратите внимание: кого любят женщины? Больше всех? В первую очередь? Кому норовят подарить свои чувства, свою любовь и заботу?

Несчастливым, обиженным, слабым, шандарахнутым – непонятым, незаслуженно обойденным жизнью. И – негодяям, подлецам, блестящим и насмешливым циникам, который точно ведь пыльцу с твоих крылышек сотрет, но как сладко и манко побыть с ним, поиграть этим огнем: по крайней мере это ведь настоящий мужчина! А также – к непонятым гениям влекутся романтические и жаждущие заботиться женщины, к погибшим талантам, великим людям, которых подкосила злая судьба.

Вот вам маленькие и ничтоженькие герои русской литературы – Лизы-Акакии-Девушкины. Вот страдающие эгоисты и наслаждающиеся эгоисты: Онегин-Печорин-Долохов. А вот несостоявшиеся титаны: Базаров, Инсаров, дальше у Чехова еще найдутся. А герой-борец – это зло ходячее и добро обреченное: Раскольников-Мышкин-Верховенский-Смердяков. А женщину надо любить падшую! (Доберется и Толстой до Катюши Масловой, не сомневайтесь!)

Таких страдальцев и изгоев выберет женщина с гипертрофированным материнским инстинктом. Она оправдает все их пороки и недостатки. Обвинит в их бедах чужие вины. Она уверует во все их великие предназначения – авансом. Она обуреваема желанием согреть, отогреть, утешить, поддержать и оправдать. Ее жизненное предназначение – буквально по арабской поговорке:

«Женщина – это верблюдица, созданная Аллахом, чтобы перенести на себе мужчину через пустыню жизни».

Вот ни фиги себе загадочная русская душа: страдалец всегда ей родной, от чего бы ни страдал – а работающий удачливый человек неприятен и неинтересен.

Дон Кихот освободил страдающих каторжников – и они, преступники и негодяи, первым делом забросали его камнями. Но русская интеллигенция вычитывала из книг только то, что хотела.

Русская классическая литература несет на себе через пустыню жизни, как она себе ее представляет, жалких задохликов, обаятельных негодяев и несостоявшихся благодетелей.

(Теперь вы лучше понимаете отношение русской интеллигенции в начале XX века к будущей революции, к крестьянству и пролетариату – пьяницам, забулдыгам, всем этим перевозносимым Челкашам, злобным и мстительным, жадным и тупым представителям народа, которого так обожала русская интеллигенция, так страдала комплексом вины перед ним! О, она так хотела свергнуть проклятое самодержавие, освободить исстрадавшийся несчастный народ, посадить его рядом с собою – вместе трудиться и управлять. Как боролась за гуманизм и демократию, толерантность и против смертной казни! (Не было казни? По закону. По особые решения и военно-полевые суды приговаривали.) Ну – за что боролись, на то и напоролись.

Дали маленьким людям винтовочки и отпустили вожжи. Припомнил Герасим барыне Муму, а Евгений императору наводнение.

Грянул 17-й годочек, а дальше и 18-й, и 20-й. Акакий так и служил в конторе, и трясся пуще прежнего в нищете пуще прежней. Лизе еще объяснят на политинформации, что комсомолка должна по первому требованию товарища-комсомольца дать ему удовлетворить половую потребность, иначе какая же она комсомолка. Раскольников пойдет служить в ЧК, покажет тварям дрожащим, кто он есть именем Мировой революции и светлого будущего. Онегина с Печориным шлепнут в рядах Добровольческой армии, если во Францию сбежать не успеют. Анну с Вронским экспроприруют и расстреляют в заложниках. Мышкин помрет с голоду, кто ж его кормить станет; Николая Ростова с семьей поднимут на вилы, имение разграбят и сожгут; Обломов похудеет от бескормицы, пойдет служить за нищенский паек, к 1934 его лишат прав состояния и вышлют из больших городов, а скорее – заморят в лагере по причине враждебного происхождения...

Прекрасная тема для школьного сочинения на вольную тему по окончании «прохождения» книги: «Представьте, что стало бы с героями после Октябрьской (Великой русской?) революции?»

В результате мы видим ужасное:

Русская литература – это литература поражения и капитуляции. И как компенсация – тонкая жалостливая душа и глубокая умственная рефлексия: бедолага-пораженец остро чувствует и содержательно рассуждает.

Идейно русская литература сводится к правозащитному движению в пользу всех несчастных. Не веря при этом в победу. Благородно. Но депрессивно.

Но не может же быть, чтобы великая русская литература этим ограничивалась! Да! – она и не ограничивалась!

Весь XIX век народ читал Матвея Комарова: «Повесть о милорде Георге и маркграфине Луизе» – такое лубочное переложение рыцарского еще романа. Страсти, ужасы, красоты и благородные приключения. Плебейское чтиво. Но! Яркими крупными мазками, р-роковые стра-

сти, и никакого занудства, никакой заунывности, никакого безнадежного пессимизма! Критическо-диспетчерской мыслью книга была начисто исключена из обзоров русской классики, как не было, – а кроме классики ничего ведь и не было, не помнилось, не переиздавалось!

А в 60-е уже годы, литературный расцвет, выходит знаменитейший роман Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы». (Да, вторично по отношению к «Парижским тайнам» Эжена Сю, ну так русская литература почти вся вторична по отношению к европейской.) Да, роман авантюрный, детективный, – но одновременно остросоциальный, обличительный, граничит в чем-то с физиологическим очерком, очерком нравов. Читался на ура! Опять же: активное жизненное начало, зло должно караться, а добро торжествовать и так далее. Нэ трэба. Забыть Герострата!

Агрессивный и нетерпимый пессимизм свойственен русской классической литературе, вот что я вам скажу.

...И вот уже революционеры, вот уже «Земля и воля» разделилась на «Народную волю» и «Черный передел», и вот уже Степняк-Кравчинский, боевик, хладнокровный храбрец – среди бела дня, в имперской столице Санкт-Петербурге, в суперцентре, на углу Михайловской и Итальянской улиц – закалывает кинжалом шефа жандармского корпуса, начальника Третьего отделения генерала Мезенцева – и скрывается! И в эмиграции, в Лондоне, пишет роман о революционерах «Андрей Кожухов» – герой совершает покушение на царя. Но стреляет из чужого непристрелянного револьвера – и промахивается! А ведь шел на верную смерть, конечно хватают и вешают.

Я помню, как в школе этот момент привел меня в бешенство. Какой идиот идет на такое дело, не проверив бой револьвера! Ну ничего же не могут! Когда позднее я узнал биографию автора – сильно зауважал и сильно задумался: почему он, такой крутой и деловой, такое написал? Только для сюжета? Эх...

Вот таково влияние атмосферы, подпитка из общего информационного облака. В жизни одно – а в литературе другое. В жизни убивали и взрывали так, что только клочья летели от встречных и поперечных! А в литературе – пожалте Леонида Андреева: «Рассказ о семи повешенных».

А ведь русские нигилисты были уже знамениты во всем мире! Уже Бакунин был столпом и авторитетом мирового анархизма! А в литературе? В литературе все отлично: Щедрин и Чехов. Злой смех и тихий вздох.

И понадобилась молодая романтическая англичанка, Этель Лилиан Войнич, которая в Лондоне влюбилась в Степняка-Кравчинского, и прониклась идеалами борьбы за свободу, и приехала в Россию жить и работать, два года прожила, – и это она написала «Овода» (а в восстании 1877 в Италии Степняк-Кравчинский участвовал и сражался, с этих его рассказов она идеями и прониклась свободы и борьбы) – и «Овод» мгновенно перевели и издали в России: и это был и остается первый и единственный героический роман о борьбе за свободу, о несгибаемом герое – первый и единственный роман во всей – во всей!!! – русской литературе. Простите оговорку – какой же «русской»...

Молодая, не шибко образованная, не шибко талантливая – больше ничего и близко равного не написала, вообще очень мало писала, – вот англичанка – смогла! А русские титаны мысли и гении – нет! Не потому, что бездарны – многие гениальны! А потому что – закваска не та, дух не тот, мир видят не так, пара нет в котле! А та девка была английского замеса, века суровых предков сложились в ее генах, и ей это передалось: что значит драться в любых условиях и побеждать хоть своей смертью! Вот хоть сдохните все – не было такого образа в русской литературе, ни одного! Так что нам помногу-то пыжиться нечего!

Почему Инсаров у Тургенева не мог пасть смертью храбрых в боях за свободу и независимость своей родины? Почему от простуды????!! Почему Базаров – не на дуэли, не от взрыва прибора, не спасая детей от дифтерита?! Почему Печорин не в бою на Кавказе, спасая своего

солдата?! Почему князь Андрей – не в атаке со знаменем, спасая судьбу сражения – а от глупой фанаберии, дурацкой «чести»?!

Герой русской литературы не в состоянии даже пасть с честью за дело, которому служит, за идеалы, да хоть за справедливость! Сама смерть его – недоразумение, и жизнь – недоразумение.

Да подите вы все подальше с вашим слюнявым самовосхвалением: «О, во всем мире высоко ценят великую русскую литературу!» Толстоевский описал малопонятную русскую душу – вот их представление; и переводы дурные, и русский язык «Толстоевского» они осилить не в состоянии.

А на самом-то деле: книги есть прекрасные, гениальные – а герои дерьмо, размазанное по карте огромной империи. Навоз под ногами владетельных ханов. Да вовсе не все люди такие, есть достойнейшие!! А лит. герои – получите ваших дефективных, распишитесь вот здесь о получении всеобщего очень среднего образования.

Как прекрасен и вечен Салтыков-Щедрин! Я однажды час читал по радио цитаты из него – и был завален письмами повторить.

Есть в божьем мире уголки, где все времена – переходные.

Ничем не ограниченное воображение создает мнимую действительность.

Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли.

И так далее, так далее; самый вечно живой из всех русских классиков.

Великий русский драматург Александр Островский. Бесприданницу погубили, муж ничтожество, любимый – подлец. Катерина утопилась. Да все равно топиться – да чего ж она гадину-свекровь-Кабаниху ухватом не убила? Муж тряпка и алкаш, любовник эгоист: вот Варвара свалила с Кудряшом – так еще ограбить бы и спалить стервозную Кабаниху святое дело было бы; ан нет...

Если у русского классика не восторгается зло – он просто спать спокойно не сможет!

Господа мои, а ведь был генерал Скобелев, хирург Пирогов, инженер Можайский, изобретатель Лодыгин! Но подобные им персонажи с их конскими копытами в калашный ряд литературы не годились.

Чехов! Великий Чехов! И насчет денег вкладывать и преумножать понимал, и насчет женщин понимал, и талант был высоко оценен и щедро оплачивался. Но Ваньку Жукова ейной селедочной мордой – в харю, Варька удушила младенца и облегченно заснула, Ионыч превратился в бесчувственного циника и стяжателя, а уж пьесы!

Это Чехов, не умея писать длинные вещи, не владея интригой, не в силах свинтить сюжет, стал писать пьесы, в которых ничего не происходит. Если режиссер не выкрутит на основе пьесы спектакль, где выдаст на-гора то, чего в пьесе и не было – постановка провалится. Так Чехов стал родоначальником нового театра – в котором ничего на фиг не происходило: XX век, модернизм, экзистенциализм, вовремя. У Чехова там все протухает в собственном соку, в стоячем болоте. Они ничего не делают, ни на что не способны – они тоскуют и страдают. У них ничего не получается, мечты тают, планы не сбываются. Их хочется сдать в шарашку, в трудовую армию – в ежовые рукавицы, строем, десять часов работы, трехразовое питание, по воскресеньям увольнение в город. И они закричат об утраченной свободе – но запоют о счастье причастности к общему делу и труду, я вас уверяю!

А еще любовь. «Дама с собачкой». Медленно и печально, кровать скрипит, а сами плачут. Ничего не возможно. И еще эта фраза: «Человек рожден для счастья, как птица для полета!» Это ж надо так свистеть! Человек в русской литературе рожден для счастья, как гусь для духовки, как посуда для погрома, как вилка для глаза!

И в заключение – ну буквально два слова о Бунине. Иване Алексеевиче. Первом русском нобелевском лауреате в литературе. Певце «Темных аллей». И светлых воспоминаний. Но печальных.

Любовей было много – и все прекрасны – и все несчастны. Не в том смысле несчастны, что не взаимны – о, очень даже взаимны, и полны, и одарили массой счастливейших ощущений! Но кончились ничем, разлукой, бесплодно, навсегда. То чужая жена, то психопатка мать, то еще что-нибудь не слава богу. Никаких на фиг свадеб, семей, вечных союзов, рука об руку, жизненный путь... боже, о чем вы, какая пошлая проза, фи! Страдать! И еще раз страдать!

А вот шедевр русской и мировой новеллистики – «Легкое дыхание», потрясающий, любимейший мой рассказ. Прелестная шестнадцатилетняя гимназистка, юная грация, воплощение чистоты и невинности, только расцветшая женская красота. Пор-рочна! Растлена седобородым отцовским приятелем, любовница плебейского, некрасивого казачьего офицера, издеваясь дала ему прочесть свой дневник и была из ревности застрелена.

...Моя бабка в семнадцать лет стала сестрой милосердия в полевом лазарете, I Мировая. Были сестры милосердия в осажденном Крыму, в освобожденных от турок Балканах, на воюющем Кавказе. Кого-то из них ранило, кого-то иногда и убивало. Кто-то вышел замуж за выжившего раненого, которого выходили. Вот не интересовали классиков их образы и судьбы.

Русская классическая литература выковала образ злокачественного неудачника. Жертвы властей, общества, нравов, жертвы человеческого несовершенства и собственной слабости воли и характера. Этот образ растиражирован и вчеканивается в мозги.

И русская классическая литература может оказывать на человека то благое влияние, что делает его умнее и порядочнее: она глубоко копает жизнь и призывает милость к падшим, справедливость и милосердие проповедует.

Но! Более. Русская классическая литература может оказать – и оказывает, жить и так трудно – то вредоносное и разрушительное влияние на мировоззрение человека и на его характер, что она проникнута пессимизмом, депрессией, ее герои страдают всеми формами комплекса неполноценности, не хотят и не умеют бороться и добиваться цели, да и цели их ничтожны, если вообще бывают.

Здесь вид пропасти не вызывает мысль о мосте – но вызывает мысль о бездне. Все равно все хреново, все равно мир не изменишь, все равно все кончается провалом, все равно достичь счастья невозможно, все равно от нас ничего не зависит.

О! Был чернышевский Рахметов, но этот человек сделан из хлеба, мыла и гвоздей. Он настолько искусственный, придуманный, сконструированный, что никакого воздействия оказать не может. Сами спите на гвоздях. И стройте алюминиевый коммунизм. Увяли розы. Мысль хорошая, исполнение не дуже добре.

Всем спасибо, читайте на здоровье, но понимаете, во всех цивилизованных странах жалуются, что в основном молодежь вообще ничего делать не хочет, так вы ей еще Достоевского, а то у нас подростковый суицид что, перестал быть самым высоким в Европе?

Русская классика уже сыграла сто лет назад свою прискорбную роль в том, что интеллигенция кротко легла под большевицкого хама. Ибо он был – витален! решителен! добивался своего любой ценой! не боялся никакого зла!

Все простите, всем низко кланяюсь, но вот такая особенность есть в русской классической литературе, и о ней не принято говорить, даже обращать внимания на нее не принято. Кряхтим по жизни покорно, как бараны, а нас учат находить смысл и благолепие в страдании и покорности. Всем спасибо.

Золотые шестидесятые

Мы еще напились шампанского! Золотой выплеск веры, надежды и любви. Главное в Шестидесятых – у литературы и страны сияло будущее! Невзирая на. Лица и мечты были иной генетики.

Все начинается на самом деле раньше, чем становится явным. Литература шестидесятых, шестидесятников, новая послевоенная советская, литература расцвета Советской власти – началась не после XX Съезда КПСС. Но. Той чертой времени, с которой она зародилась, той точкой отсчета, следует вспомнить и считать знаменитую некогда повесть Ильи Эренбурга «Оттепель».

«Оттепель» была напечатана в 5 номере журнала «Знамя» за 1954 год и явилась знаменательной, пардон за дурной нечаянный каламбур. Это вполне нехитрое, скучно написанное произведение, в каноне соцреализма – дало, однако, название целой эпохе. То есть: писатель точно уловил ветер эпохи и обозначил его. Сталин умер, страх ослаб и прошел, гайки приотпустили, запах надежды и воли в щели вошел, дух воспрял у людей и надежды распустились, как почки, стало быть, в оттепель. Но не весна, заметьте, не весна! Только оттепель! Мудр был старый битый Эренбург, тертый-крученный...

Повесть-то крайне нехитра: ну, инженеры, ученые, производство, новаторы-консерваторы, ретрограды и радетели за новое и прогрессивное, все патриоты. Но уже бывшие классово чуждые не осуждаются, уже эмигранты не клеймятся как враги, уже в Париж хоть кого-то выпустили в поездку (боже мой, кого ж это в те времена в Париж пускали, кроме Эренбурга и горстки избранной элиты от науки и культуры, витрину официального СССР, так сказать).

Но главное что? Что было сказано, напечатано, обозначено: теперь, после смерти Сталина и расстрела Берии все будет иначе: свободнее, справедливее, перспективнее. Вот это было как рассветный крик петуха после ночи тяжких ужасов.

И вот проходит еще год – и происходит знаменательнейшее в советской литературе событие: с 55-го года начинает выходить журнал «Юность». Пробиватель его и первый главный редактор – Валентин Катаев. А Катаев был человек крутой, крепкий, весомый. С властью ладить умел, а свое гнул. Доброволец-окопник первой мировой, прапорщик военного времени, офицер белого бронепоезда в Гражданскую, посадки и расстрела избежал загадочным образом, из одесситов – той, славной одесской генерации Олеси и Бабея, Багрицкого и Ильфа, и так далее. Этот своего добиваться умел, за чем бы ни тянулся. И талантлив был!

А вот в начале 1956 и происходит XX Съезд КПСС, осуждающий культ личности Сталина! И он воспринимается как разрешение свободы, отмена репрессий, новые вольные перспективы, ну и для литературы в том числе. Они потом себя недаром детьми XX Съезда назовут, это великое было событие для страны, судьбоносное, что называется.

И в 1956 году после этого «Юность» публикует повесть Анатолия Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурского». Студенту Литературного института Гладилину исполнился 21 год. И это был грохот. Это было событие эпохальное в литературе. С него начался отсчет литературы новой. Потом ее назовут «городской прозой», «иронической прозой», иногда даже «новой советской прозой», «новой современной прозой» и так далее.

Вещь обычная и нехитрая. Понимаете, впервые в советской истории количество выпускников десятилеток заметно превысило количество мест на первые курсы институтов. Впервые возник конкурс при поступлении! – раньше-то поступали все желающие с дипломом за десять классов, хоть как сдавшие вступительные экзамены. И это была значительная подвижка в жизни городской молодежи.

Появилась в больших городах прослойка образованной молодежи с амбициями, которая не поступила в институты, но не хотела идти в обычные работы и имела повышенные куль-

турно-социальные потребности. Они старались следить за «западной» модой, «западной современной» музыкой, быть в курсе книжных новинок неофициального спроса и тому подобное.

А кроме того – у них был подвешен язык. Они предпочитали говорить иронично, с напускным цинизмом, подкалывая старших и друг друга. И главное, самое главное – они уже выскочили из-под непреодолимого пресса сталинской пропаганды и смели высказывать сомнения в поучениях старших товарищей, они уже открыто могли не очень доверять официально-патриотической трескотне, всей этой традиционной советской демагогии.

И вот вполне обычный парень Виктор Подгурский – он такой вот. И он становится первым героем новой генерации! Кумиром читающей молодежи! Впервые говорят: «Ну наконец-то! Вот это про нас! Он как мы! И говорит как мы, и думает как мы, и желания у него как у нас!»

Потом Анатолий Тихонович Гладилин напишет «Дым в глаза» – судьба современного парня, волей волшебника получившего то, чего он больше всего для себя хотел – и что из этого вышло. Про футболистов эта повесть, кстати. Потом – уже в шестидесятые – в «Юности» же выйдет его замечательный роман «История одной компании» – жизнь друзей с шестнадцати до тридцати лет, судьба повзрослевшего поколения, разные судьбы тех, кто держит на себе страну – от ученых до слесарей.

А потом в серии «Пламенные революционеры» выйдет книга неожиданная и удивительная: «Евангелие от Робеспьера». Попытка постичь суть и смысл революции, пожирающей всех своих детей, всех самых самоотверженных и талантливых, которые убивают друг друга, и на смену приходит диктатор, а кончается все сытой и благополучной протухающей буржуазной республикой. Горькая книга о бессмысленной трагедии революций. Читали про Францию – а понимали-то и про СССР...

А в глухове семидесятые, в 76 году, родоначальник новой советской прозы Анатолий Гладилин эмигрирует, уедет в Париж, где и проживет всю вторую половину жизни. Я буду иметь счастье познакомиться с ним на юбилее Аксенова, в поездке в Казань, в застолье, в узком кругу, и перейти на ты, и гулять вдвоем, и сделать большую беседу на радио – и так никогда и не опомнюсь, что Толя Гладилин, который всего-то теперь на тринадцать лет старше меня – тот самый, прославленный и великий далеко наверху, которого я школьником вслух читал классу на перемене, это было про нас, наши мысли и желания, нашим языком, и мы упивались каждым словом.

Н-ну, а в 57-м году состоялся Московский международный фестиваль молодежи и студентов, все флаги в гости к нам, про родившихся потом разноцветных «детей фестиваля» мы не будем – а будем мы о водоразделе уже, после которого могучим валом пошла новая жизнь, и в ней – новая литература. Наши столичные ребята нюхнули иностранцев живьем! Стиляги появились! Сфарцованные тряпки появились! «Центровые» – это были именно модные, стильные, современные, с передовыми вкусами и взглядами. А «тундра» – остальное советское население, носившее черт-те что и не знавшее насчет Пресли.

Еще что чрезвычайно важно: стали издавать книги! То есть не только совковую лабуду про сталеваров и агрономов, написанную бездарными секретарями писательских организаций. Есенина и Александра Грина стали издавать, фантастику Александра Беляева, и даже серый десяти томник «полуразложившегося религиозного мистика» Достоевского с разгону выстрелили. Но еще и самое, наверное, главное – массовыми тиражами пошли три «не наших»: Джек Лондон, Хемингуэй, Ремарк. Джек Лондон стал самым массовым и читаемым – и этот дух свободного индивидуализма и мужества, когда сам отвечаешь за все, этот дух навсегда пропитал весьма широкие слои населения – не прямо, так косвенно. Джек Лондон, которому посчастливилось в СССР тем, что а) о нем хорошо отозвался Ленин; б) он был социалист и за рабочих против буржуев; в) он умер до 1917 года и не сказал ничего плохого про Октябрьскую революцию и СССР, – этот Джек Лондон был скрыто антисоветским писателем: за индивидуализм,

самосуд, личное обогащение, право на оружие и частное предпринимательство, авантюризм и путешествия по миру свободно. Плюс торжество белой расы. 58-я статья, 10 лет без права переписки! А его наштамповали миллионов двести, за тридцать-то лет после Сталина.

А «Три товарища» и «Фиеста» стали книгами культовыми для всех интеллектуалов. И. Они очень повлияли не только на мировоззрение и манеру поведения. Они очень сильно повлияли на литературный вкус, на манеру письма, – Хемингуэй прежде всего, конечно. Ему подражали, на него ориентировались. Про его портреты в комнатах вспоминали уже все, кому не лень: мужественный красавец-старик с седым чубом, два варианта: в грубом морском свитере или в кремовой рубашке с оборками.

...Итак, появляется куда как нехитрая повесть молодого врача Василия Аксенова «Коллеги»: про молодых же врачей. Три друга (кстати о Ремарке), самый лучший – в сельскую больницу, простых людей лечить. О, все они сознательные советские люди, правильные идеалы – но у них и говорок современный городской, с элементами молодежного сленга, и выпить могут, и в морду дать, а вот высоких слов чуждаются.

А через пару лет в той же юности – вещь знаковая: «Звездный билет». Опять же три друга, но уже вчерашние школьники – ищут свой путь в жизни. Кто рыбу шкерить от эстонского рыбколхоза на Балтике (ну, в океан-то на траулере сложнее пойти, оформиться в заграничное плавание дольше и проблематичнее, а Эстония – это малая советская заграница была). Кто в спорт хочет, кто в кино, и любовь с трагедией и разлукой перед новой встречей, и старший брат-физик-оборонщик погибает, и дом их на Арбате сносят – новая жизнь настает, юность кончилась. И эти мальчишки, так спорящие с отцами, отрицающие родительские ценности, над всем посмеивающиеся – на деле хорошие надежные люди, хотят смысла в жизни. Вот только найти его нелегко...

После публикации «Звездного билета» раздался грохот невероятный. «Поколение получило свой язык», напишут позднее критики.

После публикации «Звездного билета» Аксенов стал лидером новой генерации писателей и оглушительно знаменит. Он мне рассказывал: «Окончание, вторая часть, была напечатана в седьмом номере, он вышел в начале августа, такой в оранжевой обложке. А мы как раз в Таллин приехали, и вот вылезли на пляж в Пирита. И вот тогда я увидел, что, кажется, прославился: вот честное слово, весь пляж в этих оранжевых обложках, все лежат и читают, тираж-то у «Юности» большой был...»

По «Коллегам» и «...билету» были сняты приличные фильмы со звездами экрана, их все видели, знали.

После публикации «Звездного билета» Катаева сняли с главных редакторов журнала. Это 61-й год. Шесть лет он держал свой бастион «Юности» против партийной швали, пока не свалили.

Еще у Аксенова были несколько десятков блестящих рассказов, штучных, отточенных, блестящих, с индивидуальными вывертами: «Папа, сложи», «С утра до темноты», «Дикой», «Катапульта», «На полпути к Луне», «Завтраки 43-го года», «Товарищ красивый Фуражкин» – и рассказ, который он ставил особняком: «Победа». Каждый из них заслуживает отдельного разбора, новеллика Аксенова – это как минимум отдельная лекция.

А в 1968 – год наших танков в Праге – Аксенов публикует в «Юности» же гениальную повесть «Затоваренная бочкотара». Масса споров, масса критики – текст настолько чист, точен, ироничен, это такой издевательский гротеск, что официоз не мог решить, как надо реагировать.

Но шестидесятые уже кончались, роман «Поиски жанра» вышел в 1972, а «Остров Крым» считается написанным в 1979, но о публикации его в СССР речь идти и не могла, конечно. Отрывками я опубликовал его первым с Союзе в 1987 году, чем гордился, в журнале «Радуга» в Таллине я тогда работал, уже начиналась перестройка.

А Аксенов в 1980 уехал в США читать лекции, был лишен советского гражданства, и начался новый этап биографии. «Ожог», «В поисках грустного бэби» – это уже эмигрантская литература на русском языке – там уже другой воздух, иное свечение стиля. С начала 90-х он вернулся в Россию, хотя не совсем – оставив преподавание, купил домик в Нормандии, половину времени проводил там, там в основном и писал в уединении: «Московская сага», «Вольтерьянцы и вольтерьянки»...

Двух писателей поколения ставят обычно рядом с Аксеновым и Гладилиным. Во-первых, это Юрий Казаков.

Я помню, как после девятого класса, летом, я сидел дома в кресле, ноги на стул, и читал «Голубое и зеленое», рассказ в одноименной книге. И пил холодное молоко. К концу страницы я снял ноги, отодвинул молоко и читал, боясь, что кончится, и всячески оттягивая конец. Это было не просто про меня. Это было про мои чувства, мои мечты и терзания, мои надежды и разлуки – моими словами, моими выражениями. Такого ощущения я не испытывал никогда в жизни – никогда у меня не было больше такого ощущения полного совпадения с героем, абсолютной моей тождественности с ним. Когда я закончил чтение – я понял, что боялся дышать, пока читал...

Я и сейчас думаю, что этот рассказ у Казакова – лучший. Хотя, на чей вкус, я понимаю. «Адам и Ева», «Трали-вали», «Манька» – замечательные, потрясающие рассказы. Казаков писал абсолютно традиционно и внешне очень просто, в манере изложения давно отметили бунинскую традицию – легкое дыхание свободно построенной фразы, которая может быть простой, короткой и даже грубоватой, но регулярно автор словно забывает остановиться, и фраза течет длинная, многооборотная. И все его рассказы лирично-печальны, всегда в них элемент разлуки, несбывшегося, не могущего состояться. Легки и наслаждают в чтении, как родниковая вода, простите уж столь банальный оборот, но иногда и он правда. Языковой слух Казаков имел тончайший и редкостный, гармония сопряжения слов изумительная, естественная, вроде сам собой рассказ идет.

Страшно интересен и выдается из ряда рассказ «Проклятый Север»: два мурманских моремана-рыбака, штурмана, отдыхают в весеннее межсезонье в Ялте. Делать нечего, деньги есть, они расслабляются по кабакам не просыхая. Между делом посещают дом-музей Чехова, ну, они слегка слишком интеллигентны для тех разговоров, но это не важно. Рассказ абсолютно бессюжетен: воспоминания о северных зимних штормовых морях, разговоры об оставленных женщинах, и все это сквозь алкогольный флер: «Слушай, поедем с тобой завтра, а?.. – Куда? – В этот... – В какой? – Ну, в этот!.. – Да куда ты хочешь?.. – А, да черт с ним, куда-нибудь!..» Рассказ ни о чем – и обо всем главном в жизни: любви, работе, смерти и вечности, славе и смысле жизни, будущем и забвении. Изумительно! И интересный сплав Казакова и Хемингуэя, это его канва, его доворот на мир.

Любили Казакова все, человек был прекрасный, признание принесло деньги, и водка унесла все. Постепенно перестал писать, в пятьдесят пять лет умер от пьянства. Трагичная и нередкая история...

И после появления в 57 году повести «Продолжение легенды», там рабочие строят плотину в Сибири, ГЭС очередную огромную, но как-то современно, с огоньком преодолевая недостатки и разговаривая нормально они ее строят, Анатолия Кузнецова, ее автора, тоже стали критики ставить в первый ряд молодежной прозы. Но с Кузнецовым вышло хитрее.

В 66-м году вышел в «Юности» его роман «Бабий Яр»: жизнь в оккупированном Киеве вообще и расстрелы евреев в частности. Роман прошел цензуру, был купирован, с огромным интересом и уважением за тяжелую и практически запретную тему читался. Видите ли, геноцид евреев гитлеровской Германией и вообще Холокост в СССР не то чтобы не признавался, но был практически запрещен к упоминанию. Единственно допускалась государственная точка зрения, что гитлеровцы уничтожали вообще «советских граждан», военнопленных, русских и

вообще славян, всех они ненавидели и хотели поработить и в значительной мере уничтожить: и евреи в этом ряду жертв отнюдь не являлись никаким исключением. И что их уничтожали поголовно по принципу национальной принадлежности, и под «решением еврейского вопроса» понималось уничтожение всего народа целиком и полностью – об этом говорить было запрещено.

Единственное было в таком роде тогда произведение. Ну, а в 1969 году коммунист Анатолий Кузнецов, секретарь Тульской писательской организации и член редколлегии журнала «Юность», поехал в Лондон собирать материал для книги о Ленине. Возможно, детали ленинской жизни были ему дороги, а только в Лондоне он остался. Насовсем.

Ну, книги его отовсюду изъяли, фамилию везде вычеркнули, упоминать запретили – как положено. В 79-м году, 49 лет от роду, там и умер.

Еще был один нестандартный писатель сам по себе. Но тоже из, условно говоря, направления «Юности», группы «Юности». Надо понимать – «Юность» имела свое лицо, свои предпочтения, свою идейно-стилистическую направленность, так сказать. Там печаталась интеллигентная литература свободомыслящих людей, которые умели писать не просто хорошо, но еще и легко и современным языком; и писали они также в основном об интеллигентных людях, их жизни и проблемах. Я очень примитивно сейчас передаю суть дела, но это чтобы вы поняли: это журнал прогрессивно мыслящих и эстетически продвинутых людей, критически относящихся к отдельным недостаткам окружающей жизни, любящим пошутить и принимающим новые веяния, так сказать. Людей городских профессий и места жительства.

И вот Борис Балтер, предвоенный выпускник военного училища, бывший офицер, разведчик, фронтовик Финской и Отечественной войн, в 1962 году печатает в «Юности» крайне простенькую, ностальгическую повесть о трех друзьях в причерноморском городке. Они кончили школу, попрощались с девушками и родными, и поехали в военные училища. Нежные чувства юности, предвоенный курортный быт, разлука. Все.

«До свиданья, мальчики» называлась повесть. Успех ее был оглушительным, огромным, даже непонятным. А за душу брала.

Подтекст был колоссальный.

Потому что потом была война. И всем их надеждам и планам не суждено сбыться. Это поколение сгорит в огне Великой Отечественной. И вытянет ее страшный груз на себе, оставив по себе только память. И вот мы вдруг касаемся этой обнаженной памяти. Этой мирной, трогательной, юношеской, чистой и доброй, ну, интимной, человеческой изнанки поколения, которое завтра погибнет в окопах – страшно погибнет, жестоко, кроваво, героически, – но сегодня-то они ничего этого не знают, живут счастливым будущим.

Это попытка осмыслить свою счастливую предвоенную юность, которую они оплатили своими жизнями. Попытка осмыслить великую и трагическую судьбу поколения, которое было таким обычным, нормальным, уязвимым, семнадцатилетние обычные хорошие мальчики со своими мечтами.

Видите ли, критики, по-моему, не отмечали. Вся книга держится на четырех маленьких, по несколько фраз, лирических отступлениях. Они – это воспоминания о будущей судьбе этих мальчиков, взгляд из сегодняшнего дня – постаревшего, одинокого, усталого человека, единственного оставшегося в живых из них.

«Где ты Инка? С кем ты? Через три года я уже пил. Но не коньяк, а простую водку, на финском фронте. Полагалось по сто граммов, но в приказе не говорилось, сколько раз. Ротные строевые записки подавались накануне, а назавтра многих уже не было, и мы пили их сто грамм. А вот бриться каждый день я не мог. Кожа на лице выдерживала зной и сорокаградусный мороз, жгучий ветер и режущий снег. А ежедневного прикосновения бритвы не выдерживала. И каждый день я душился одеколоном «Красная маска», пока он не исчез перед войной.

Всю жизнь я хотел быть похожим на того летчика, которого в глаза не видел. Это в память о тебе, Инка...»

Или:

«Я многое в жизни терял, но нет ничего страшнее смерти близкого человека. Витьку убили восьмого июля тысяча девятьсот сорок первого года: батальон, которым он командовал, вышел из контратаки без своего командира. А Сашка умер в тюрьме в тысяча девятьсот пятьдесят втором году: не выдержало сердце. Это случилось после ареста в Москве многих видных врачей. Сашка был тоже очень хорошим врачом-хирургом».

Мы видим их настоящее и знаем их будущее, мы воспринимаем их непосредственность через горькую мудрость старости – и это рождает удивительную объемность повести, многоплановость времен и смыслов.

...Но все-таки главный литературный бум 60-х пришелся на поэзию. Это 1956–1968 годы, если пытаться определить границы. Границы эти условны, размыты, но смысл понятен: от XX Съезда до Пражской весны. От момента, когда Хрущев объявил осуждение культа личности Сталина и «возвращение к ленинским нормам» – то есть кончаем с репрессиями и заботимся о народе, – и до подавления чехословацкой бархатной революции с ее попыткой создать «человеческое лицо социализма», тут в СССР все гайки стали закручивать.

Вот основные имена в прозе мы назвали, но еще более значимыми были имена в поэзии, и первым из них было имя Евтушенко. Ну да, имя Евгений, Евтушенко фамилия.

Евгений Александрович Евтушенко был человек энергии неукротимой, его поэтический напор преград знать не хотел. Его выгоняли из школы, он с 15 лет работал, с 17 печатал стихи в газетах, в 20 лет он выпустил первую книжку, первый сборник стихов, и был принят в Союз Писателей СССР – самый молодой, юный, уникал, исключение, вундеркинд! Заметьте – год стоял на дворе 1952 – мрак полный! Сталин был еще жив! Еще готовился процесс «врачей-убийц», выселение евреев, расстрел Берии, Авакумова и еще массы значимых фигур из «органов» был впереди, еще все всего боялись – а двадцатилетнего поэта, автора спортивных, лирических и патриотических стихов Женю Евтушенко приняли в Союз писателей! И сделали, кстати, его комсоргом. Много ли комсомольцев было в этом заповеднике рептилий.

Маленькое, но необходимое и крайне по теме отступление про Союз писателей СССР. Он был, стало быть, образован в 1934 году как Государственное Министерство литературы, управляемое Коммунистической Партией. Строем, по приказу, согласно методу социалистического реализма. Блага и льготы дачами, изданиями, гонорарами, поездками. Но чтоб писали что надо и как надо! Ну, потом время репрессий, потом война, и вот тут принимали новых членов СП не очень, а старые старели, умирали, гибли в лагерях и на фронте, от болезней и водки, – и ряды редели, редели!.. В послевоенные годы в СП очень мало принимали, да и некого было, книг-то почти не издавали.

А вот по следам XX Съезда тут же сказали: «А где у вас, товарищи, молодая смена? А кто будет внедрять в массы идеи коммунизма через литературу? А почему так хреново работаем с молодежью, что нет никого? А книг почему мало издаем?! Воспитывать молодых строителей коммунизма, вам сказано, а вы вообще чем занимаетесь?..»

То есть товарищей партийных кураторов литературы подскипидарили, и они завертелись: издавать больше! быстрее! в Союз писателей принимать молодых активнее! больше! И вот уже книги стали во второй половине пятидесятых выходить за полгода (фантастика для СССР!), и в Союз писателей стали принимать по одной книге, а иногда даже по журнальной публикации! Началось сказочное, вскоре ставшее мифическим время для советских писателей: жизнь была легка, быстра, лучезарна, деньги сыпались, слава сияла, возможности ослепляли! Пришла в СП новая генерация – молодая, мощная, талантливая, многочисленная. И она верила в коммунизм, вот что характерно! Затем и принимали...

...Так вот я хотел сказать, что железнотаранный юный двадцатилетний Евтушенко, без всяких связей, волосатых лап, покровительств – издал книгу и вступил в СП. Пусть не лучших стихов, сам потом их критиковал – но он уже принял накат. И когда отворили шлюзы – с Евтушенко и начался большой грохот в поэзии. К 1960-му году у него было уже шесть (шесть!) сборников стихов, и когда в «Юности» – журнал журналов, витрина новой литературы – появилась подборка с его программными и прогремевшими «Постель была расстелена, и ты была растеряна, и спрашивала шепотом: «А что потом? А что потом?...» и «Нигилистом»: «Ходил он в брючках узеньких, читал Хемингуэя. Вкусы, брат, нерусские, внушал отец, мрачней», – Евтушенко определился как Номер первый в новой советской поэзии. Это был гамбургский счет, оценка широкой читающей публики. И это приводило в бешенство как официальную критику всех направлений – так и менее преуспевших коллег. Не считая друзей своей генерации.

Имя «Евтушенко» стало в то время почти нарицательным при обозначении современных поэтов. Слава была не просто оглушительной – небывалой в истории. Прошу повторить и задуматься: небывалой в истории.

Что характерно: он одевался, наверное, ярче всех в Советском Союзе. Вообще это было еще время стилияг, и молодые литераторы свою оппозиционность кондовой советской традиции проявляли во всем: и в манере разговора, и в принципиальной творческой антипафосности, ироничности, честности, – и в манере одеваться. В своей первой заграничной поездке в Лондон молодой Аксенов чуть не весь гонорар за перевод на английский грохнул на какой-то баснословно дорогой модный пиджак, больше ни у кого в Москве такого не было (все равно гонорары почти целиком ВААП отбирал в фонд государства). Ну так Евтушенко был вне конкуренции: какие-то необыкновенные яркие рубашки, невероятно пестрые пиджаки, шейные платки «вырвиглаз», массивные перстни, – с его ростом и сухощавой фигурой это было просто среднее между парадом мод и цирком попугаев. Но он при этом был естественным! Он ужасно любил жизнь во всех ее проявлениях, он воспринимал ее как праздник! И ведь как писал, дьявол...

С начала 60-х пошли сборники «Нежность», «Взмах руки», «Катер связи», и там было буквально тесно от шедевров, простите за малоприличный и даже банально-туповатый такой оборот.

Здесь вот еще какую вещь необходимо упомянуть. Высокообразованным людям с тонким художественным вкусом не полагалось любить Евтушенко. Полагалось любить и ценить как высокую поэзию Пастернака, Мандельштама, Ахматову и Цветаеву. Это устоявшаяся обойма Поэтов с большой буквы. Любовь к ним – показатель твоего собственного вкуса. А «Евтух», как его фамильярно называли и фанаты, и недоброжелатели, был как бы по сравнению с ними примитивен, простоват, дубоват, лобовой какой-то, и вообще слишком шумный и саморекламистый. И учтите, и поймите, а если сейчас не поймете, то прошу запомнить, и, возможно, удастся понять позднее: все мнения любой тусовки – это конформизм, корпоративная оценка, отсутствие собственного мнения, примитивность и неразвитость собственного вкуса, который не может сам, самостоятельно оценить произведение – и для самоуважения присоединяется к господствующей оценке авторитетов своей группы, которым хочет подражать и быть компетентным и значительным в их глазах.

Евтушенко писал: «Есть прямота – как будто кривота, она внутри себя самой горбата, пред нею жизнь безвинно виновата за то, что так рисунком непроста». Он писал: «Чтоб какая-то там дама – сплошь одно ребро Адама – в мех закутала мослы, кто-то с важностью на морде вновь вбивает нам по Морзе указания в мозги». Это его гениальные «Военные свадьбы»: «О свадьбы в дни военные, обманчивый уют, слова неоткровенные про то, что не убьют... Летят по стенам лозунги, что Гитлеру капут, а у невесты слезыньки горячие текут... Походочкой расслабленной, с челочкой на лбу, вхожу, плясун прославленный, в гудящую избу... Невесте горько плачется, стоят в слезах друзья. Мне страшно. Мне не пляшется. Но не плясать – нельзя». Это, вы знаете, одно из лучших в русской поэзии о роли искусства и ответственности

художника, если так вдуматься хоть капельку. «Тревоги наши вместе сложим, себе расскажем и другим, какими быть уже не можем, какими быть уже хотим», – это не про нас сейчас, нет?.. «Другие мальчишки, надменные и властные, придут, сжимая кулачки влажные и, задыхаясь от смертельной сладости, обрушатся они на ваши слабости».

Еще он написал «Бабий Яр» (не путать с романом Кузнецова, который появился позднее). «Над Бабьим Яром памятников нет. Стоит гранит, как ржавое надгробье. Мне страшно. Мне сегодня столько лет, как самому еврейскому народу». Грохот был страшный. Стихи практически запретили. Их перепечатывали, передавали в списках. Евтушенко громили, критиковали, учили, как писать о войне правильно.

Он был хороший поэт, Евтушенко, истинный, и он умел давать силой простой, вылепленной, выбитой фразы – давать смысл как веер глубин, как дверь в бесконечный мир. Больше никто не собирал стадионы, чтоб стадионы слушали, как поэт читает стихи. Не было этого и не будет. Больше никого из поэтической братии – лично, его, одного, поэта! – не будет принимать официально в своей резиденции президент США. Больше никто не объедет со своими стихами весь мир, сотню стран.

Но был поэт более формально яркий и поэтически нахальный, так сказать – звезда этого же ранга Андрей Вознесенский.

Здесь необходимо сказать несколько слов о шестидесятниках как поколении. Это все были ровесники – 1932–35 годов рождения. Аксенов, Гладилин, Евтушенко, Вознесенский – это все одна генерация, одна волна. Понимаете, когда через год-два после XX Съезда, после Московского фестиваля молодежи и студентов, народ поверил, что теперь действительно новая жизнь, действительно не сажают, действительно можно делать свободно что хочешь (ну, в рамках коммунистического мировоззрения, но все равно это был колоссальный рывок как сжатого газа из шара в свободную атмосферу) – и главное чиновники тоже свыклись с новым положением, и стали меньше бояться и больше позволять, – понимаете, как-то очень быстро раздвинулись границы дозволенного, и это резкое расширение пространства и создало иллюзию свободы. И вот те талантливые, которым в этот момент было двадцать три – двадцать пять лет, то есть возраст вхождения в главные дела жизни, возраст зрелой молодости, возраст, в котором приступают к главным делам своей жизни, возраст максимальных сил и надежд, веры в себя и в жизнь – вот генерация талантов этого возраста вошла в литературу разом, как волна, как когорта, как македонская фаланга, сметающая все, как цунами. О, это было небывалое явление!

И первый спутник советский, и первый космонавт советский Гагарин, и громкая кампания освоения Целины еще не закончилась, и «черемушки», эти типовые дома для народа, впервые в жизни советской с отдельными квартирами для каждой простой семьи, и из лагерей вышли те, кто остался на тот момент в живых – вот все это рождало атмосферу небывалого исторического оптимизма. Искреннего оптимизма, массового! И прежде всего – среди образованной молодежи. А поколение взошедших звездами шестидесятников – это было образованное городское поколение молодежи.

И тот, кто делил с Евтушенко поэтический трон, вечный соратник-соперник – это Андрей Вознесенский. Писавший стихи какие-то необыкновенно красочные, безумные, яркие, неожиданные, прибегая к сравнению в живописи – какой-то кубизм в поэзии, экспрессионизм, сильнейшие красочные впечатления через набор ударных деталей, несочетаемых образов:

«Автопортрет мой, реторта ночного неона, апостол небесных ворот – аэропорт!»
«Несутся составы в сажу, их скорость тебе под стать, в них машинисты всажены, как нож по рукоять!» «Я – Гойя! Глазницы воронок мне выклевал ворон, слетая на поле нагое. Я – Горе...»
«Есть у меня сосед Букашкин в кальсонах цвета промокашки, но как воздушные шары над ним горят Антимир!» «Кому горят мои георгины? С кем телефоны заговорили? Кто в костю-

мерной скрипит лосиной? Невыносимо!.. Невыносимо горят на синем твои прощальные апельсины. Я баба слабая, я разве слажу. Уж лучше сразу».

В мастерстве чтения своих стихов равных Евтушенко не было. И в мощном сочетании современных проблем с исконным народным духом в поэзии – он тоже был, наверное, номером первым. Но по яркости слова, по яркой контрастности и силе уникальных поэтических сочетаний, по мощи поэтической вибрации, ну, поймите оборот, – тут Вознесенский был номером первым.

В этом ряду необходимо назвать коллегу двух вышеупомянутых – Роберта Рождественского. Писал резкие, мужественные, современные стихи; было в них что-то сурово-милитаристское, и что-то от Маяковского, что-то такое городское, асфальтовое, бетонное, гитарное, автомобильное. При этом патриотическое такое – но без слюнявого пафоса, а вот так как-то резко-просто-душевно патриотические стихи у него были. Но по прошествии времени оказывается, что главными у Рождественского остались те стихи, которые стали текстами песен. А этих текстов много, и их знали в Советском Союзе абсолютно все, они звучали везде, многие и сейчас помнятся.

Начиная с «Семнадцати мгновений весны»: «Не думай о мгновеньях свысока» – титры-то народ редко читает, особенно авторов текстов песен и тому подобный технический персонал. А это Роберт Иванович Рождественский. «В этом мире, в этом городе, там где улицы грустят о лете, ходит где-то самый сильный, самый гордый, самый лучший человек на свете...» – пела со своим неповторимым акцентом Эдита Пьеха с ансамблем «Дружба», так ведь вся страна это знала, и хотела слушать еще. Мы смеялись по поводу войн и взрывов: «А город подумал – ученья идут!» – а ведь стихи были отличные, и песня отличная, хотя это еще далекий семидесятый год – но прочтите сейчас, послушайте: это осталось.

Из всех поэтов новой волны Рождественский быстро стал как-то самым патриотичным и официальным. Из них никто в годы своей славы не бедствовал, но, как вы понимаете, за исполнение песен всеми ансамблями страны автору капали деньги, которые за книги не снились. И вот несчастный в брежневском Советском Союзе случай: абсолютно официальные советско-патриотические стихи-песни были реально хорошими или очень хорошими. «Пьют зеленое вино, как повелось... У обоих изменился цвет волос. Стали волосы смертельной белизны. Видно, много белой краски у войны...» «Мы – дети Галактики, но самое главное – мы дети твои, дорогая Земля!..» – это тоже ведь Рождественский.

Ну, в плане добавить немного веселья длинной лекции, где ведь речь у нас о материале на самом деле легком, веселом, молодежном, оптимистичном – и еще один текст. Все бывает. И на старуху бывает проруха. Причем эту проруху исполняли бесчисленно раз всеми государственными оркестрами, особенно в День космонавтики. Это нечто в качестве стихов совершенно чудовищное: «Вы знаете, каким он парнем был? Как на лед он с клюшкой выходил? Он сказал: «Поехали!», он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской пронесся над Землей». А вот вы спойте! И ритм, и рифма, и поэтическая свежесть и сила – вызывают подозрение, что голова трещит с похмелья (во рту эскадрон ночевал), аванс давно пропит, а текст надо сдать через полчаса, и по этому поводу на языке только заплетающийся мат. И вот пишется эта совершеннейшая графомания, галиматья, которую неудобно читать и которая вызывает нездоровый хохот. Я на самом деле очень люблю этот текст как такой интимный маленький краешек слабой и несовершенной музыки поэта, в смысле с музой все в порядке, но она тоже может с утра себя плохо чувствовать и удалиться ненадолго по надобности. Здесь какая-то очень живая человеческая слабость, человеческое несовершенство, которое увеличивает доверие и симпатию к поэту – тоже живому человеку, понимаешь...

Окуджава! Булат Шалвович Окуджава! Об его песнях мы будем в основном говорить в другой раз, хотя его поэзия от песенного ее воплощения, песенного исполнения самим автором – неотделима. Окуджава – он чуток постарше будет, с 1924 года. Фронтовик, учитель, сотруд-

ник областной газеты, в конце 50-х перебрался в Москву и как-то мгновенно и органично вошел в авангард современной советской поэзии. Понимаете, он был ни на кого не похож – тощий, рано лысеющий, типичной грузинской внешности, с необыкновенным тембром голоса и вечной гитарой. Он очень обогащал компанию. И он стал выступать под гитару первым, когда это еще не было общепринято, не было обычно. Нравился он страшно.

Понимаете, сразу после войны он уже написал «Неистов и упрям, гори, огонь, гори, на смену декаблям приходят январь... Прожить ли так дотла, а там пускай ведут за все твои дела на самый страшный суд. Пусть оправдания нет и даже век спустя семь бед – один ответ, один ответ – пустяк...» Так больше писать никто не умел. Это пахло истинной поэзией – которую абсолютно невозможно пересказать прозой, которая вся как веер образов и смыслов, когда словосочетания приобретают характер символов и образуют некую эмоционально-философскую, рационально не могушую быть сформулированной основу.

И здесь Окуджава остался единственным и уникальным. «Вы слышите – грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки – вы поняли, куда они глядят. Вы слышите – грохочет барабан: солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, в туман, в туман – а прошлое ясней, ясней, ясней!.. А мы рукой на прошлое: вранье! А мы с надеждой в будущее: свет! А по полям жиреет воронье, а по пятам война грохочет вслед». Слушайте, да не было приличного человека сколько-то образованного, который не знал бы эти стихи, эту песню! Заметьте: еще и магнитофонов-то почти не было, а уж компьютеров таких даже фантасты еще не изобрели. То была слава живая: из уст в уста, что называется.

Знаете, Окуджава был истинный поэт: у него словно не было биографии, никаких скандалов, слухов, женитьб-разводов – ну полностью чуждая богеме репутация. И весь он – вот, памятник на Арбате: сядьте и выпейте за его столом. Одни стихи:

«Мой сын, твой отец лежебока и плут из самых на этом веку. Ему незнакомы ни молот, ни плуг, я в этом поклясться могу. Покуда бездомные шли на восток и участь была их горька – он в теплом окопе пристроиться смог на сытную должность стрелка...» «Вежливы и тихи, делами замученные, жандармы его стихи на память заучивали. Он красивых женщин любил любовью не чинной, и даже убит он был красивым мужчиной. Он умел бумагу марать под треск свечки. Ему было за что умирать у Черной речки!» Это, наверное, лучшие стихи о Пушкине во всей русской поэзии.

Он был гений, Окуджава. Просто человек воспитанный и деликатный. Тихий. Скандалов ему не доставало для репутации, не доставало шума, наглости, эгоизма – люди ведь иначе не понимают... Он себе цену знал, и внутри-то тихо переживал, это естественно. «А как первая любовь – она сердце жжет. А вторая любовь – она к первой льнет. А как третья любовь – ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке... А как первый обман – на заре туман. А второй обман – закачался пьян. А как третий обман – он ночи черней, он любви сильней, он войны страшней». Такие дела...

...И где были эти четверо – Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Окуджава – там была женщина, единственная и неповторимая, красивая и талантливая, с каким-то серебряным надрывом, простите мне эту литературную красоту – Белла Ахмадулина. Она одна такая была из поэтов, не стоял рядом с ней никто из женщин. Красавица, обольстительница, пьяница, поэт милостью Божьей. Да, когда-то в ЦДЛ – о, то были дни его блеска и славы, клуб легендарный и привилегированный, не для простых смертных – Белла, первая жена Евтушенко, и Галя, его вторая жена, могли для развлечения перепить любого мужика, пока он не падал под стол. Старожилы любовно хранили этот сюжет. Вот что значит гвардия. Прав был старик уже Евтушенко: «Попытки нынешних литераторов нападать задним числом на нас, шестидесятников, – это зависть уксуса к шампанскому!»

Каждый год, который кончается показом старой и уже просто родной «Иронией судьбы, или С легким паром», – звучат стихи двадцатидвухлетней Ахмадулиной: «По улице моей кото-

рый год звучат шаги – мои друзья уходят. Моих друзей мучительный уход той тишине за окнами угоден».

Осмелюсь заявить, что из поэтов этой генерации Ахмадулина – поэт наименее понятый... вернее, не так: ее поэзия в наименьшей степени поддается анализу и истолкованию. Наименее понятно, как ее стихи «сделаны», как устроены, чем «берут» читателя. Писали много о голосе серебряном и хрустальном, о применении архаичной лексики, о свежести неожиданных и неточных рифм как важном аспекте реформации стиха; о том, что она писала в традиции, идущей от Лермонтова, и Пастернака, и еще кого... И все это, простите, фигня. Ощупывание наружных форм. Поэтому для того, чтобы понять Ахмадулину как поэта, как поэтическое явление 60-х, нам придется всунуть в нашу лекцию такое вкрапление, сделать такое отступление, как

маленькая вводная лекция

О СУЩНОСТИ ПОЭЗИИ.

Начнем мы от печки – простите, я всегда так начинаю, не потому, что трафарет, или потому что идиот пытается объяснить для идиотов, а потому что если ты начинаешь ход рассуждений и анализа не от основы, а от какого-то уже продвинутого, известного всем сведущим людям пункта на маршруте – ты рискуешь начать движение после неверного поворота, сделанного до тебя. Итак:

Что есть поэзия? Поэзия – это когда говорят то, чего нельзя сказать прозой. Перескажешь в прозе – и суть поэзии исчезнет: настроение, эмоции, музыкальность, пафос, торжественность – это исчезнет: или вообще, или в значительной степени.

То есть?

Сейчас я безусловно избавляю вас от разговора о поэтике Аристотеля, Буало, Шлегеля, Лессинга, а также Веселовского и Потебни; даже о любимом моем ОПОЯЗе мы не будем говорить, ибо здесь сейчас не курс теории поэтики и ее истории. Но ежели кто вознамерится понять сущность поэзии и ее воздействия – должен будет получить соответствующее образование, и не методом сдачи экзамена в университете, это любой дурак делает, – но вдумчиво перечитывая и осознавая знаменитые, хрестоматийно известные труды упомянутых гигантов. Вдумываясь, пробуя на вкус и медленно осознавая.

Видите ли, ты только тогда можешь понять серьезные идеи в серьезном труде, если твое образование и твой интеллект будут хоть как-то сопоставимы с авторским. И еще: когда твои усилия по осмыслению книги будут соизмеримы с усилием автора, написавшего ее, затраты твоего времени и твоей умственной энергии на постижение будут соизмеримы с его усилиями, приложенными к пониманию проблемы и созиданию. А поскольку ты из другой эпохи и культуры, с другого дерева фрукт – тебе надо долго и добросовестно разогревать мозги и напрягаться, чтобы понять написанное. Так-то вроде понять это давно изученное легко – прочитал и понял, не дурак же. Так это фигня – ты должен въехать в систему взглядов Гумбольдта или Шлегеля, в их мировоззрение, в их культуру, должен осознать их круг чтения, их шкалу художественных ценностей. Влезть в их шкуру, увидеть проблему его глазами, проникнуться не только его чувствами, но всей его системой знаний.

Главное: ты должен не узнать и запомнить выводы гения, это ерунда, в Интернете сегодня все есть, – ты должен подняться до его уровня мышления, понять закономерность его выводов в аспекте причинно-следственных связей со всей окружающей и предшествующей проблематикой. Знать и понимать – вещи разные, все ведь слышали, да?

Короче, идеальный критик – это высококвалифицированный литературовед, исчерпывающе знающий теорию области искусства, в которой лежит анализируемый предмет. Н-но – идеал существует только в Ином Мире. А в этом – если хоть кто-то хоть что-то понимает – это уже праздник!..

Значит, на поверхности лежат формальные признаки поэзии: ритмическая и звуковая организация: стиховой ритм, стихотворный размер, рифмы и их чередование на концах строк. Здесь все просто понять.

Далее идут разнообразные преувеличения: гиперболы страстей, красоты, силы и так далее. Понятно. Наш вождь победил сто врагов, перед красотой моей дамы склонились сто принцев.

Далее – момент самый интересный и перспективный: метафоры. Всех видов. Кипящий негодованием взор. Не вдаваясь в виды метафор и их теорию, отметим главное: слова употребляются не в их прямом значении, но условно-переносном. Главное: берется два или несколько слов, каждое из которых имеет ясную смысловую нагрузку – и сочетаются не по прямому смыслу, а по эмоции от смыслов, впечатлению от смыслов! Железный характер. Тупая скотина.

Метафора – это вербальная система, семантико-эмоциональное содержание которой не равно, не адекватно простому сложению смыслов и эмоций составляющих ее слов. Взор не может кипеть – он нематериален. И негодование не может кипеть. А кипеть могут лишь жидкости. При высокой температуре. От сотни до тысяч градусов, когда уже металл расплавленный жидок.

То есть. Негодование, взор и кипеть – это слова из трех разных областей. Причем. Два слова означают состояние, не имеют вещественного смысла: негодование и взор. Это отглагольные существительные, от: негодовать и взирать. А кипеть – просто глагол.

Как надо сказать корректно, точно, для научного труда, скажем? «Посмотрел, причем по движению лицевых мышц и кровоснабжению подкожных тканей можно заключить о дискомфорте и агрессивном состоянии». Это точно. Но не интересно. Не эмоционально. Не вызывает сопереживания. Это можно сказать об обезьяне, собаке, хомяке, человеку – без разницы.

А если – увлечь, передать эмоции, вызвать сопереживание, зажечь, зацепить, потащить?

Во-первых, тогда мы спрямляем логические цепи. Из ряда корректных, точных слов выдергиваем ключевые. «Взглянул агрессивно».

Во-вторых, заменяем прямое корректное слово на стилистически окрашенный синоним: «недовольно», «гневно», «яростно», «негодующе».

В-третьих, заменяем найденный синоним на вербальный оборот с большей эмоциональной нагрузкой, и заодно смысловой, и заодно образной. Берем три слова, скажем, из трех разных областей – и сочетаем их чисто грамматически. Штеко будланула бокра. А что? Все согласовано. А если каждое слово будет иметь свой индивидуальный смысл? Блатной жаргон: ловко обманула богача. Э, так это один профессиональный уровень, не интересно, языков на свете много. А если взять слова из разных смысловых, разных предметных, разных ассоциативных гнезд? О: «кипящий негодованием взор».

Первый, кто так сказал, был великий поэт. Над ним смеялись, его поносили, оспаривали. Ему подражали и завидовали. Он сыграл великую игру: употребил слова не как знак вещи или явления – но сочетание принципиально разных слов употребил как принципиально новый оборот, который принципиально новым способом выразил сильное и яркое чувство. Раньше так никто не умел.

Сочетание слов как цельная семантико-эмоциональная единица, как контекстуально неразъемная вербальная система, поднялось на новый уровень: над-буквальный, над-конкретный, над-смысловой. Оттенки сближенных слов отсвечивали друг на друга, как на палитре, давая новую краску, новый цвет, которому нет названия в словаре, который существует на раз, штучно, только здесь и сейчас.

Эти слова бывают несочетаемы в обычной речи – и их рассчитанное и искусственное соседство рождает массу чувств у читателя: это и память о смысле изначальном, и сравнение с ним смысла сейкашнего конкретного, и противостоящие друг другу кусты ассоциаций этих двух значений, и вследствие этого резкое и сказочное, нереальное значение сейкашнее, поэ-

тическое. Что получается? Жутко объемный и многозначный смысл и эмоция, допускающий павлиний шлейф допущений и трактовок, карточную колоду вариантов.

Эмоциональная и образная выразительность встает за обычной метафорой. А вот дальше – сложнее и интереснее.

Силлабо-тонический стих может основываться на ясном и точном перечислении деталей: «В граненый ствол уходят пули, гремит о шомпол молоток». Может на индивидуальной интонации, это очень трудно, для этого требуется врожденный языковой слух на тонком музыкальном уровне: «Тогда расходятся морщины на челе, тогда смиряется души моей тревога, и счастье я готов постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога». (Простите, что я неточно цитирую Лермонтова, ну вот так оно со школы мне на душу легло.) Сильный ритм, тропы, изыски рифм, аллитерации – все это давно исследовано.

Но есть вещь еще одна. Степень метафоричности стиха. Степень абстракции вербальных сочетаний. И тем самым его многослойности, многомерности – изобразительной, эмоциональной, смысловой. В русской поэзии это направление (прием?.. традиция?..) восходит к лермонтовскому шедевр «Есть речи – значенье темно иль ничтожно, но им без волнения внимать невозможно. Не встретит ответа средь шума мирского из пламя и света рожденное слово».

Н-ну – и о чем это? Об одиночестве души? Или одиночестве поэта? Или – что дело не в словах, а в том, что за ними, под ними – в чувстве? в настроении? в неясном пророчестве? О чуждости людей, толпы, мира – поэту и пророку, который верен только огню внутреннему и божественному и не подлаживается под них? Но: любая трактовка только обедняет истинную поэзию – подобно тому, как неуместна любая попытка переложить музыку в словесное содержание.

Истинную поэзию истолковать прозой невозможно. Такая штука. В ней присутствует элемент внерационального, надрационального, иррационального чувства и смысла. Это как минимум надо иметь в виду. Любая попытка прозаического (а какого же еще?) анализа поэзии – заведомо обедняет ее, примитивизирует, огрубляет. Ну, простите за красивое и отчасти неоригинальное сравнение – анализ поэзии как бы стирает узор пыльцы с крыльев бабочки, и после этой процедуры она уже не полетит – ковылять в пространстве будет.

«Что хочет сказать поэт этой фразой?» А чтоб ты сдох, хотел он сказать, со своим словарем и арифмометром.

...Вот от этого лермонтовского шедевра несказанного тянется тонкая ниточка к послевоенной советской поэзии – к знаменательному «Неистов и упрям, гори, огонь, гори» Булата Окуджавы. О чем это?.. О жизни, мля! О грехах и воздаянии, о скоротечности жизни и стоицизме, о снеге и об огне, много о чем. Все это стихотворение в целом – одна цельная, сложная, большая метафора.

Поэзия отличается от прозы принципиальным отсутствием изображения реальности в форме реальности. Поэзия – это метафора. Частичная, простая или сложная, но – метафора.

Поэзия – это не то, что написано. И не то, о чем написано. А нечто другое, стоящее за этим; под этим, над этим... Поэзия – это принципиальный подтекст, а вернее ведь сказать – надтекст.

Слова вырываются из словарных гнезд, из лексических связей, и из них, насильственно, искусственно, преодолевая их иммунное взаимоотношение, поэт изящно или брутально сбивает фразы, которые не могли бы появиться в языке естественным порядком. И эти фразы – как голубые тюльпаны, как выведенные трудами и фантазией селекционеров экзотические существа, поражают читательское воображение.

«Дыр бул щыл» – довел до абстрактного абсурда эту основу поэзии Крученых. Типа: достаточно и небывалого созвучия, со-словия.

(Ну, чтобы закончить: поэзия – это сильно неравновесная вербальная система, выражаясь языком синергетики.)

Итак. Поэзия как метафора второго рода, мегаметафора.

Зыбкость, многозначность, символичность и условность преходящего бытия – вот что развертывается и встает за грамматической мозаикой слов из разных предметных, стилистических, смысловых рядов. Да, прежде всего просто эмоциональная, смысловая и образная нагрузка такого текста резко повышена.

... Вот и все, что следует понимать о поэзии Ахмадулиной.

Вот бурная до опустошенности любовь в ее исполнении: «И взрывы щедрые, и легкость, как в белых дребезгах перин. И уж не тягостен мой локоть чувствительной черте перил. Лишь воздух под мою кожей...» Здесь что ни словосочетание – то одноразовая, штучная, «неологическая» метафора. «Щедрый взрыв» – и понятно, о чем, и выразительно до крайности. И «дребезги перин» (это уже через полтора года лет после «содроганий вакханки молодой» пушкинской) – так они белые, естественно, и пух и перья тут летят так – аж звон слышен. Лорд Байрон, это была любовь!!! И после этого ты взлетаешь, вес ушел из тела, ты едина с воздухом, и весь мир прозрачен и пронцаем, как рисунок... Смеею предположить, что эти строки – из лучших о любви земной в русской поэзии.

Требуется чертовский вкус и тончайший, абсолютный слух, чтобы изящно сочетать в разовые над-смыслы слова из столь разных стилистических и смысловых гнезд. В этом Ахмадулина не имела себе равных. Да, ранняя, до тридцати в основном... ну, как обычно и бывает у поэтов.

И строк, строф таких у нее было много, много! «Я им – чета. Когда пришла пора, присев на покачнувшиеся нары, я, запрокинув голову, пила, чтобы не пасть до разницы меж нами». Им – это мужчинам. Почему нары, почему покачнувшиеся, это что, про посещение заброшенного лагеря? Нары – это знак барака, тайги, зоны, суровой и скудной, опасной мужской жизни – да ты замучишься развертывать смыслы и коннотации только этого одного слова! Покачнувшиеся – это от ветхости? Или уже пьяна? Или они перегружены, и так там много всех сидит? Или это головокружение от волнения? Понятно, да? А пила, запрокинув голову – это или из горла, или много залпом, или из лихости и желания доказать, что можешь, – или так самозабвенно, увлеченно, опьяненная этой жизнью, или наоборот – еле уже глотала с непривычки? А вот и то, и другое, и пятое, и как хочешь.

Если ввести условно такую величину, как коэффициент многозначности поэтического словосочетания, или

коэффициент мегаметафоричности стиха как усложненной вербальной структуры – тут Белла Ахатовна Ахмадулина будет номером первым. Вторым – Окуджава.

Да, я слышу, Ахматова низко ценила Ахмадулину. А Анна Ахматова – культовая фигура русской советской поэзии и вообще культуры (хотя сегодня предпочитают, наверное, оборот «русской культуры советского периода»; не суть.) Согласно дневникам Лидии Чуковской, Ахматова вообще шестидесятников не жаловала, и Евтушенко с Вознесенским ей были типа жонглеры, а не поэты. Видите ли, во первых – про Ахматову в другой раз. Во-вторых, насчет обычая поэтов в круг сойдясь, оплевывать друг друга, сказал еще Кедров (чем более всего и помнится сегодня). В-третьих, Ахматова – более фигура судьбы в русской культуре, нежели фигура поэзии (да-да, какой ужас сметь думать подобное): на ней отсвет последней фигуры Серебряного века, и отсвет Николая Гумилева с его поэзией, путешествиями и гибелью в ЧК, и отсвет тюрьмы и лагеря, которые прошел единственный сын, и отсвет жестокой государственной травли и позорного постановления, и она не сломилась, не продалась, не согнулась – она хранила гордое достоинство в самых тяжких, свинцовых обстоятельствах. Чем являла образец личности, образец поведения. Честь, память, слава. Это буквально герой греческой трагедии.

Но что касается ее стихов, а также ее поэтического и вообще литературного вкуса – простите, но не знаю, как можно узреть в них эталон. Ее поэтический дар представляется мне

скромным. Таким неоклассическим традиционализмом. Она не была большой поэт – она была по факту хранитель великой традиции. А это не одно и то же. Вот за судьбу и характер, за то, что через нее сохранилась, не прервалась живая нить, тянущаяся от великой русской поэзии – вот за это только низкий и вечный поклон. А ее поэзия и мнения... Достаточно было того, что она существовала – такая, какая есть. Ценность Ахматовой в этом. А не в ее литературных, вторичных, искусственных стихах. И уж тем паче не во мнениях. Ну, Чехова она не любила. И что.

Но вот то, что разговор о поэзии шестидесятников привел нас к Ахматовой – это символично, да.

Но были ведь и другие поэты, ныне и навсегда практически забытые – или, уж во всяком случае, вышедшие из употребления: Николай Доризо, Степан Щипачев, Николай Грибачев, и вообще Герой Социалистического Труда Егор Исаев. Еще до войны Щипачев написал знаменитое «Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне», в шестидесятые над ним издевались как над образцом совкового назидательного дурновкусия.

Мы о многом не будем говорить: не все, писавшие в 60-е, были шестидесятниками и определили лицо литературы и эпохи, сами понимаете.

А упомянуть необходимо следующее:

В 1959 Борис Слуцкий написал свое сверхзнаменитое: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе». И лет чуть не на десять начался знаменитый спор «физиков и лириков». Водородная бомба, межконтинентальные ракеты и космические корабли создали ореол романтики и значительности физикам – ядерщикам, ракетчикам, теоретикам и экспериментаторам. Это они творят будущее и оберегают мир, одновременно грозя его уничтожить. Они стильно одеваются, говорят на молодежном сленге (ну, из молодых которые, а вообще они почти все молоды, в те времена если физик в тридцать лет еще не доктор наук – значит, малоспособный, не состоялся) – но неделями пропадают в лабораториях и на полигонах, хватают дозы облучения, гибнут на испытаниях, такие сдержанные в выражениях высоких чувств и циники на словах. Виктор из «Звездного билета» Аксенова, Гусев из знаменитого фильма «Девять дней одного года», Евдокимов из «Еще раз про любовь» Эдварда Радзинского – лишь возглавили массовое шествие физиков, а также геологов, инженеров и строителей по страницам новых книг. Они – строили коммунизм «с человеческим лицом», делали нужное народу дело без громких слов – эдакие советские Базаровы, новые советские дети слегка промотавшихся отцов. А болтать, то есть, меньше надо.

Физики уводили у лириков девушек, делали открытия и карьеры, пропадали на секретных объектах и отдавали жизнь в научной борьбе за неизбежное светлое завтра. Против них не устоишь!

А еще был поэт совершенно отдельный – Эдуард Асадов. Из военного поколения, фронтовик, доброволец, ослепший после тяжелого ранения, всю жизнь носил черную полумаску на месте глаз. Асадова критика не считала человеком и в упор отказывала во всем: писал стихи примитивные, пошлые, поверхностно-нравоучительные, и вообще ни разу не поэт. И вы знаете, все это правда. За исключением одного: он был поэт! Несмотря на свою гомеровскую слепоту, несмотря на свою назидательность школьного учителя, несмотря на формальную примитивность своих виршей на уровне графомании. Он был кумиром восьмиклассниц и пэтэушниц, столь же неискушенных в поэзии, сколь тянувшихся к красоте своими трогательно-примитивными душами. И вообще его очень любила масса людей, для которых поэзия – это было слишком сложно, а вот зарифмованные благие пожелания и добрые нравоучения – в самый раз, в сердце, в яблочко!

«Стихи о рыжей дворняге» исполняли в середине шестидесятых на всех школьных вечерах буквально: «Труп волны снесли под коряги... Старик! Ты не знаешь природы: ведь может тело дворняги, а сердце чистой породы!» А уж «Ночь» девочки просто переписывали, сбор-

ников-то тиражами сотысячными достойными-массовыми было не достать, с продавщицами дружили, из-под прилавка покупали, время было такое – «Эх, знать бы ей, чуют душой, что в гордости, может, и сила, что гордость еще ни одной девчонке не повредила. И может, все вышло не так бы, случись эта ночь после свадьбы».

Понимаете, в поэзии шестидесятых Асадов – это был такой наивный и неуклюжий Пор-тос, неотесанная деревенщина с незамутненными представлениями о добре и красоте. Он писал о любви, о верности, о красоте и природе, о долге и мужестве – очень простенько, бук-вально на уровне звезды районной многотиражки. Но он писал о добре, учил добру и ста-вил выше всего добро! Аж иногда неловко становилось, просто совесть щемила: такую фигню пишет, такую школьную пропаганду в лоб гонит, ну просто пионервожатый на слете юных тимуровцев – а ведь правду говорит, пацаны, ведь так и есть на самом деле: мы вот ржем, а он правда верит во все хорошее, он хочет, чтоб жизнь была такая, чтоб люди хорошими были, он за это глаза на войне потерял... Как же можно его ругать-то.

...Вот разговор уже к концу – а деревенщики, почвенники, народники, земельщики – они-то где, про них-то что? Василий Белов, Валентин Распутин, Федор Абрамов, Виль Липа-тов, Виктор Астафьев, наконец! Это было иное течение, как бы параллельное новой, город-ской, молодежной, иронической прозе – параллельное, не пересекающееся, оппозиционное ей, принципиально другое. Они недолюбливали город с его циничным потребительством и моральным растлением, отходом от народных корней. Они воспевали деревню, традицию, исконные формы народной духовности, они выступали хранителями крестьянской традиции, корня народного – прямо или косвенно, вольно или невольно противопоставляя себя иронич-никам-молодежникам-горожанам. Короче – это была тогдашняя советская форма борьбы сла-вянофилов и западников.

Деревенщики были традиционны по взглядам, пристрастиям – и по форме. Критический реализм с включением реализма социалистического. Они писали добротную традиционную прозу и исповедовали традиционные добродетели: трудолюбие, порядочность, честность, вер-ность. Терпеть не могли никаких формальных изысков – хотя Виктор Астафьев, скажем, в зна-менитой некогда «Царь-рыбе» каждую фразу старается подвывернуть так, чтоб было не вовсе обычно, не стандартно: вода у него летит из-под винта не брызгами, а «комьями» и т. п. Они любили упирать в языке на диалектизмы, архаизмы или вовсе неологизмы сами изобретали – чтоб язык казался понароднее, отличался от обычного литературного, «городского» в сторону самобытности, исконности, так сказать. При всем уважении к этим достойным людям и писа-телям так и тянет вспомнить незабвенное «Понюхал старик Ромуальдыч свою онучу и ажно заколдобился». «Сермяжная, она же посконная, домотканая и кондовая, – задумчиво сказал Остап. – Короче, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность, студент?»

(Кстати – вот с юмором и иронией у них было туго. Не имели они такого качества. Были основательны, серьезны, тяжеловесны, позитивны. А юмор – это способность видеть предмет с разных сторон. Они видели предмет только с одной стороны – своей, главной, народной, правильной. И не над чем смеяться, товарищи!..)

И хотя тот же Липатов начинал в том же конце 50-х печататься в той же «Юности» – эти ребята имели к золотым шестидесятым совсем не то отношение, нежели шестидесятники. «Привычное дело» и «Плотничьи рассказы» Белова, «Братья и сестры» и «Две зимы и три лета» Абрамова – понимаете, это ведь хорошая литература. Но. Она – это правда о прошлом, тяжелая, горькая правда о прошлом и настоящем, и в то же время – ну, воспевание дурацкое и заслонявленное слово, но – утверждение лада этой исконной народной жизни, к который не надо мешаться ничему насильственному и постороннему, который надо беречь, жить им, хранить его. Традиционные ценности и образ жизни народа на земле – это стержень русской истории, народа, государства. Хранить и беречь, ценить, осознавать.

То есть. У нас получается. «Горожане» и «деревенщики». Западники и славянофилы. Это что? Это: новаторы и консерваторы. Модернисты и традиционалисты. Это – что? Это – диалектическая пара. Единство и борьба противоположностей. Одно без другого не может быть. Для существования одного необходимо и наличие другого.

Я что хочу сказать. И очень ведь просто, если понять. Для существования общего тела культуры необходимы два начала: как консервативное – так и новаторское. Как хранить старое, проверенное, верно и надежно послужившее – так и искать и творить новое, современное, прогрессивное, чего еще не было. Шестидесятники и деревенщики – были две неразрывные, необходимые, единые стороны общего процесса литературы. Все их споры и раздоры – да: единство и борьба противоположностей, без чего нельзя.

Но! Недаром у шестидесятников с иронией было все в порядке, а деревенщики аж проседали от серьезности. Юмор, как правило – это качество ума более совершенного, мощного, многостороннего, изощренного. Не то чтобы юморист умнее философа, часто клоун – идиот идиотом. Но юмор не как кривлянье, а как парадокс, как выворачивание ситуации наизнанку – безусловный аспект ума, в общем и целом. Знаете, личные беседы Платона и Аристотеля до нас не дошли, но вот юмор первого и великого из философов – Сократа – стал легендарен при его жизни.

А кроме того: создавать новое и еще не бывшее – тут нужно больше ума и энергии, чтоб цепляться за старое, хранить, повторять уже сто раз бывшее. Более талантливый силою вещей оказывается авантюристичным новатором, менее энергичный – осторожным консерватором.

И последнее: на виду – первооткрыватель, а не комендант базы, пилот, а не теоретик аэродинамики, оратор, а не комендантский взвод. И вообще баран смотрит внимательнее на новые ворота.

Так что яркие и талантливые новаторы-шестидесятники были на виду, шли в авангарде, творили новое – а более грузные и менее интересные деревенщики переживали страшно, что сидят сравнительно в их тени. И искали причины в интригах, связях шестидесятников, в том, что они умеют запудрить мозги власти и та их продвигает, и народу мозги запудрить, и он их читает. А вот деревенщики – подлаживаться не умеют. (Особенно Иван Шевцов с «Тлей» и Всеволод Кочетов с «Чего же ты хочешь» переживали, но это уже не деревенщики, а так, стригущий лишай на честном теле свиного бифштекса.) А дело было все в объективных законах социальной психологии и психологии восприятия текстов, в психологии эстетики, если бы можно было так сказать, правильнее, видимо – в психологии восприятия эстетических объектов. Короче – читающей публике они были менее интересны и менее нужны, и хоть ты тресни, насильно мил не будешь. А читающая публика – это прежде всего горожане, люди умственного труда.

И вот Шукшин Василий Макарович, автор таких блестящих рассказов, как «Микроскоп», «Дебил», «Срезал», «Ораторский прием», «Мой зять украл машину дров» и еще полусотни отборных – он был не деревенщик, при всей простонародности материала. Он был выше и сам по себе. Именно энергия и талант тащили его в Москву, в кинематограф, в сценарии и роли, в амурные приключения. В конце концов, даже его роман с Беллой Ахмадулиной с некоторой точки зрения был словно стихийным знаком причастности к мейнстриму шестидесятников. Его-то как раз самые разные люди читали и ценили.

И если мы начинали с «Юности» – закончить необходимо «Новым миром». Но история «Юности» катаевской имела неожиданное завершение в 60-х – катаевский мовизм. Когда старик Валентин Петрович к семидесяти годам вдруг встрепенулся, послал всех и все на фиг и стал писать книги неожиданные, странные: «Маленькая железная дверь в стене», «Святой колодец», «Трава забвения». Это были бессюжетно-бескомпозиционные романы-воспоминания, романы-ассоциации, романы-монологи о прошедшей эпохе и ее людях – глазами автора, жизнь всех как вещество его жизни. Это был ностальгический снаружи и бешеный внутри

протест против проклятого и осточертевшего реализма вообще, а особенно социалистического реализма в частности. Это читалось – как пилюсь залпом, не остановиться; это вызвало удивление, даже недоверие: надо же, как советский старик Катаев здорово, неожиданно, свободно писать стал!..

Однако «Новый мир»... Твардовский Александр Трифонович был великим главным редактором. А его пьянство горькое и горестное было неизбежной реакцией на «Страну Муравью» и ордена, а семья-то его была раскулачена и сослана, и цена его сотрудничества с советской властью была вот такая. Он публиковал вещи суровые, именно что прозаичные, с гражданским публицистическим оттенком... зарядом?... ну, в общем, «нетленку», как они ее называли, они в «Новом мире» заворачивали и высмеивали. «Новый мир» был не просто флагманом толстых журналов, как принято было говорить – он был одновременно и авангардом возможного к публикации, и барометром политической погоды, и неким эталоном «достойной» литературы, и высшим знаком качества опубликованной вещи.

Среди многого «Новый мир» печатал мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» – самые знаменитые и читаемые мемуары во всей советской литературе. О, он был выездной! он провел молодость в Париже!.. Он вспоминал о Цветаевой и Мандельштаме, выпивках с Модильяни и фронтовых поездках с Хемингуэем в Испании!.. Эти мемуары тоже были одним из знаков эпохи...

...А ведь мы даже не коснулись драматургии. Михаил Шатров (Маршак) с его «Шестым июля» и «Большевиками» – попыткой очистить и реанимировать идею коммунизма и революции «с человеческим лицом». Александр Володин – «Пять вечеров», «Моя старшая сестра». «Традиционный сбор» Виктора Розова... Игнатий Дворецкий, Эдвард Радзинский – большие были имена, новые пьесы шли в театрах по всей стране и делали аншлаги, это не было время поголовной заикленности на классике с режиссерскими вывертами – живой процесс шел в театре, проблемы сегодняшние ставились.

А советская фантастика – это тоже отдельная тема, а без нее литературы шестидесятых не было. Сейчас-то уже не понять, чем были романы Ефремова Ивана Антоновича. «Туманность Андромеды» – это же было как открытие нового течения! Коммунистическая утопия – так называлась эта именно что научная фантастика. Раз марксизм-ленинизм наука, раз приход мирового коммунизма научно неизбежен, раз человек будущего будет гармонично развитым коммунистом-альтруистом-созидателем, раз Циолковский научно предрек, что человечество не останется вечно на Земле, но выйдет в Космос и будет его покорять – так и получите наше светлое и гармоничное завтра. «Сердце змеи», «Лезвие бритвы», «Час быка» – это литература списьюфиская. Мягкие намеки на конфликт отличного с идеальным. Все красивы, мудры и физически совершенны. Благородны и уравновешенны. Без юмора – он ущербен, подхихики человеку будущего чужды. Сейчас это невозможно читать и незачем – хотя фанаты фантастики умудряются. Все в елее, в благолепии, в совершенстве. Плюс легкая эротомания под флером эстетики: характеризуем с точки зрения природной целесообразности телесную красоту женщин. Подробно. Ну, хоть это забавляет и оживляет. Но тогда, повторяю – это шло за чистую монету, за идеологически выверенное будущее в литературе, за необычные и романтические картины светлого завтра.

И братья Стругацкие, Аркадий и Борис Натановичи стодевяностосантиметровые, гиганты среди пузатой литературной мелочи. Эти владели даром редкостным. Легкое перо, чистый язык, необыкновенной и абсолютно ненавязчивой смачности обороты. Развлекательный сюжет – и мудрая серьезная основа. Строго говоря – они писали про здесь и сейчас, про везде и всегда – в слегка условной фантастической форме. Эта форма, это иносказание, эта якобы внешне формальная отвлеченность – позволяли им обходить цензурные рогаки, обманывать запреты, говорить то, что было невозможно в сугубо реалистической форме. «Попытка к бегству», «Хищные вещи века», «Второе нашествие марсиан», «Трудно быть богом» – это

ведь и невозможность сбежать из колымского концлагеря СССР, и неизбежность грядущей политической реакции, и прорицание наступающего века потребительства и наркомании всех видов при утрате смысла жизни сытой цивилизацией – о, у них было много всего, их недаром читала вся интеллигенция, недаром читают и цитируют посегодняя.

Слушайте, закончить невозможно! Трогаешь этот пласт – шестидесятые – и на тебя обрушивается золотая гора! Это был истинно Золотой Век русской литературы, Поэзии прежде всего, но не только.

На авансцену выходит Валентин Пикуль, вернувший советскому читателю интерес к истории, ему неведомой, замолчанной, запретной, излагаемой редко и невыносимо скучно и официозно. «Баязет», «На задворках Великой империи», скоро выйдет его шедевр «Пером и шпагой», слава и ругань – как полагается! Он пишет жестко, четко, броско, он крутит факты как хочет – а Дюма вам не историк, но историю-то вы начинаете познавать с Дюма, начинаете ею интересоваться с «Трех мушкетеров», если вообще начинаете.

«Семнадцать мгновений весны» публикует Юлиан Семенов – серьезные люди им пренебрегают, политдетективщик, пригэбэшный журналист – а книга-то отличная! Язык чист, взгляд на предмет неожиданен и оригинален, патриотизм без малейшего пафоса – и масса аллюзий литературных, политических, общекультурных, только всмотрись чуть внимательнее. Книга мудрая, печальная, добрая и честная в том смысле, что врагам тоже воздается должное человеческое, впервые враги не карикатуры, не выродки ненормальные. Вскоре будет сериал – и без него эпоху уже и представить невозможно. А это мало о чем сказать можно...

...Кончать все-таки надо, сказал генерал и застрелился.

Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ». Писался в 1958–1968. Первое издание – 1973, Париж. Когда стали ходить первые машинописные копии – знать не могу. Полуслепой экземпляр на папиросной бумаге мне дали на сутки, и сутки я читал. И неделю ходил и шатался с одним чувством: «Нельзя же так. Нельзя же так с людьми. Нельзя же так». По моему разумению, Солженицын никогда не был хорошим беллетристом, и его художественная проза по большому счету ничего не стоит. И ума был не слишком большого, и образованности очень ограниченной, и самомнения непомерного, как фургон для мыши. Но вещь он совершил в литературе великую – «Архипелаг ГУЛАГ». Это скала в нашей литературе и культуре, это утес, это эпохально. Это не беллетристика – это публицистика. Так а кто сказал, что литература – это только беллетристика? И дневники, и мемуары, и путешествия, и документалистика, и науч-поп – это все литература. Вот Солженицын «Архипелагом» сделал колоссальное дело в литературе и в жизни. Он раскачал сознание, он качнул гигантское и страшное государство, он в одиночку написал страшный кусок истории, фальсифицированной и замолчанной официальными «историками». Это было явление знаковое.

А публикаций сколько было в шестидесятые – из сундуков, углов, столов, и публицистика, и мемуары (хоть Вертинского), и «Мастер и Маргарита», в конце концов. Потом-то прикрутили.

Ну, и в качестве заключительного раздела юмора – немного о политике. Потому что без нее нельзя. Она рулила за «красным забором».

1962 – это был пик оттепели, «Один день Ивана Денисовича» солженицынского все в «Новом мире» читали. Но и! Где пик – там и перелом! В декабре 1962 Хрущев встретился с творческой интеллигенцией и научил ее жизни и творчеству. Каждый гость получил партийный совет, и по врожденному скотству ни один не утопился в сортире. Им все как горох об стену. Это Хрущев недавно посетил выставку авангардистов, наорал на мазил, все пидарасы, мы вас научим. И учил! Евтушенко и Вознесенского он поучил писать стихи, Солженицына поучил писать прозу, Виктора Некрасова – путевые дневники. А Эрнста Неизвестного поучил лепить скульптуры. Но что характерно: всем дали по мозгам – но никого не расстреляли, не

посадили, не выслали, и даже печатать не перестали! Ну – иногда ущемляли в выступлениях или заграничных поездках, так это же вегетарианство!

А вот Андрея Синявского и Юрия Даниэля не печатали, и они публиковались на Западе, под псевдонимами, передавали тайно свои произведения. И то сказать – в самой известной повести Даниэля «Говорит Москва» правительство СССР вводит «по просьбам трудящихся»... день открытых убийств! Праздник такой всесоюзный. Ну, можете себе представить. Короче – поймали, судили, посадили: Синявскому семь лет лагерей, Даниэлю пять. 65-й год. За литературу! Но – не соответствовала, мимо советской цензуры, и не туда звала, не то подрывала. Газеты писали и клеймили, широкая была кампания. Так что не все было слава богу, не все под фанфары, не все коту творог, бывало мордой об порог. Чтоб шестидесятые медом-то не казались.

Последний штрих – нобелевский лауреат Иосиф Бродский. У нас вообще с нобелевскими лауреатами одни хлопоты. То безгражданственный антисоветчик Бунин, то отщепенец Пастернак, то русофобка вот только что Алексиевич, один Шолохов Михаил как-то уравнивает этих негодяев, так и то был человек сильно сомнительных моральных качеств. То есть качества как раз были несомненными, но не туда, куда мечталось бы. Ну, и антисоветчик Бродский.

До суда, до 1964 года, Бродский был известен в очень узком кругу. Поэты ленинградского андеграунда и примыкающая богема-тусовка. Без публикаций (мелочи типа в детском журнале «Костер» не считается). Стихи не политические, ничего такого конкретного не выражают, ну, был раз мелкий тихий скандал на «турнире поэтов» в ленинградском ДК Горького: «Еврейское кладбище» читал Бродский, ну тема очень не приветствуемая.

Здесь надо понимать, что в 1961 году приняли закон о борьбе с тунеядцами. Но формулировки были расплывчатыми. И. Вернувшись из отпуска в сентябре 1963, Хрущев наорал на идеолога Сулова, почему не высланы и не сосланы все тунеядцы – где процессы? Где реакция здоровых трудящихся? А сразу – устроил втык секретарям обкомов: где тунеядцы?! И чтоб слышно было! А первым секретарем Ленинградского обкома КПСС служил товарищ Толстиков. Креатура Хрущева!.. Толстиков собрал партактив с УВД и велел организовать тунеядцев, причем минимум одного резонансного. Редакторам ленинградских газет, областной то есть номенклатуре, велели: ну-ка тунеядца быстренько! Бу-зделано. Глянули картотеку, свистнули стукачам. И набросили аркан на безопасного и беззащитного, анкетно правильного Бродского. Еврей. Картавый. Хилый. Пишет стихи – а его не печатают! И стихи неясно о чем. Неблагонадежен то есть! И постоянно на работе нигде не оформлен.

Строго говоря, Бродского назначили козлом отпущения. Для отчета и примера. Пропустили через тюрьму и психушку и вlepили пять лет ссылки и принудтpудa в архангельской деревне, но вернули через полтора, в 1965. Согласно стойкому и известному апокрифу, Анна Ахматова прокомментировала: «Они делают нашему Рыжему биографию». Выполосканное газетами имя стало известным.

Году в 66-м самым известным стихотворением в Ленинграде были «Пилигримы»: «Мимо ристалищ и капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо шумных базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы». Его перепечатывали и переписывали, читали на пьянках при свече и охмуря девушек на прогулке. И «Рождественский романс», и многие другие стихи Бродского, написанные до 30, его ленинградского периода – безусловно лучшие, и почти все шедевры – среди них. Из поздних блестяще лишь «Представление» с его ну неотразимым же «лучший вид на этот город – если сесть в бомбардировщик». Поэтические экзерсисы американского периода – это отдельный разговор... Так же как отношения Бродского и Евтушенко, ну и кое-что другое. Ну, для этого есть отдельные специалисты по Бродскому.

Так вот, следствие по делу Бродского – и: заседание Ленинградской организации Союза писателей СССР единогласно ходатайствовало перед прокурором о возбуждении уголовного

дела против тунеядца Бродского с учетом его антисоветских высказываний. Подпись секретаря писательской организации: Даниил Гранин. Через полгода – заседание: единогласно осудить членов СП, защищавших тунеядца Бродского. Гранин.

Проходит время, хоронят в Венеции американского гражданина, лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского, а время идет дальше, и старик Гранин получает специальный приз «Большой Книги» с формулировкой: «За честь и достоинство» (!..)

...Это я к тому, что живой литературный мир 60-х (как и любой другой) выглядел не так, как его стали изображать позднее – в меру собственных пристрастий и представлений, в меру своего знания и забывчивости. И конечно Евтушенко и Аксенов были гигантами, а деревенщики были вторым рядом, подкрепленным официальным аппаратом, а Эренбург был старым мэтром, а Бродский редко проблескивающим маргиналом, а Стругацкие заставляли задумываться о странном, а Окуджаву все пели (хотя авторская песня – это тоже совсем отдельная тема).

Мы – те, кто живьем пожили взрослыми в этом времени, вобрав его, из него родом – Витя Ерофеев, Женя Попов, Саша Кабаков и ваш покорный слуга – уже старики. И как сказочные награды судьбы, сам себе не совсем веря, я вспоминаю – я вспоминаю, я помню, память у меня есть: я ходил в семинар Бориса Стругацкого, и сидел рядом, и курил с ним, и пил с ним вдвоем кофе на его кухне, а с Аркадием дважды, дважды ведь имел честь редкую выпивать вдвоем – раз пиво, раз коньяк, «с самим господином старшим бронемастером», и Борис писал мне рекомендацию в Союз писателей в те далекие советские времена. А вторую дал Окуджава, с которым я виделся лишь раз в жизни, неловко пытаюсь пропустить его в двери впереди себя, в редакции «Дружбы народов» это было, а потом я послал ему свой первый сборник по адресу из писательского справочника, и вдруг он ответил, и вот таким образом. Это Виктор Астафьев написал мне, нищему и непечатающемуся, три страницы отзыва от руки на двойных клетчатых листах, в ответ на посланную рукопись «Коня на один перегон». Это с Аксеновым, с Василием Аксеновым я сидел за одним столом, и был в одних домах, и он пригласил меня на свой юбилей в Казань, и мы чокались и пили, и я говорил ему Вася и ты, потому что он так сказал, о дружбе, обнимались при встречах, а я все не мог внутри себя в памяти своей мальчишеской до него подняться, привыкнуть, что прошло тридцать и сорок лет с тех пор, как я, школьник, читал его, всесоюзную звезду, в «Юности» и запоминал фразы на всю жизнь. Это с Толей Гладилиным мы гуляли по Москве и Казани, и тоже ты, и двойственная нереальность: вот братское равенство – а вот я школьник, и читаю его, потом «Евангелие от Робеспьера» меня перепахивает, а он жалуется, что не может обедать два раза, он и один не может, он дома в Париже гуляет по нескольку часов и ест очень мало. Это Евтушенко (Ев-ту-шен-ко!) говорит мне так запросто: называйте меня просто Женя, а я вас Миша, идет? И я кажусь себе сейчас хвастающимся, неуверенным в себе мальчиком, потому что зеркало с отражением отстоит слишком далеко во времени – в тех шестидесятих, которые мы сегодня вспоминали. И все это было не из книжек, не из рассказов, а живьем – я жил в этом запахе, звуке и цвете, ну, и вот попытался донести то, что мог.

Братья Стругацкие на фоне конца света

Чтоб понять что-то в литературе – надо истоки проследить, поднять и понять связи, откуда что: видеть поле. А добросовестно роя все причины и связи, приходишь к необходимости вообще изучить устройство Вселенной и ее эволюцию. А поскольку для литературоведа это трудно, обычно люди тут махнут, выразятся и выпьют. Таким образом, курсы лекций по творческому пути Рэя Брэдбери, Александра Беляева или даже такого гиганта, как Герберт Уэллс, совершенно у нас здесь и сейчас такие вещи неуместны. Уместны! Но невозможны. Даже общий курс по фантастике никак. И обед наш выйдет из крошек со стола. Но мы сделаем так:

Первая часть лекции – это будет такая нано-лекция о фантастике, весь флот в одном блюде. А во второй все-таки мощнейшее, многими и сейчас близко не понятое и не оцененное явление – Аркадий и Борис Стругацкие.

Так вот. Фантастической следует считать любую литературу, где заметную роль играет элемент необычного, фантастического. Так полагали Стругацкие. И это справедливо. Тогда и «Мастер и Маргарита», и «Фауст» – это все фантастика. Протесты есть? Протест отклонен. Мы к этому еще вернемся.

Фантастика – исконный литературный жанр. Как только простое информационное сообщение – «Враг близко!», «Пора на охоту!», «Скоро дождь» – усложнилось, распространилось, поднялось над разовым буквализмом – появилась фантастика как литература и философия в одном флаконе. Мифология – это фантастика как рассказ об устройстве мира и истории народов.

«Илиада» – это не только отчет о военной экспедиции. Это художественное раскрашивание военно-патриотического репортажа, чтоб сильнее впечатлял. Привирает журналист-поэт, приукрашивает, присочиняет. И вводит богов как причину и объяснение действий. Реализм? Есть много реалистических деталей и сцен. Но и фантастики хватает. Как боевой отчет – это материал для дурдома или военно-полевого дознания. А «Одиссея» как путевой дневник? Бред пьяного бродяги. Зато какой праздник чудес и приключений! А людям надо что? Чтоб дух захватывало!..

И «Золотой осел» Апулея фантастика. Задо-олго до «Острова доктора Моро».

И все сказки – это фантастическая литература донаучной эпохи, по каковой причине эту литературу никак нельзя назвать «научно-фантастической», а просто фантастической. Вместо науки выступают магия, колдовство, даже священные формулы и заклинания, вызывающие всемогущих духов – боевых и служебных роботов дотехнической эпохи.

То есть. Уровень научно-технической информации был совсем другой, разумеется. Но художественная модель, конструкция, структура – абсолютно та же самая! В ткань повествования вводился вымышленный, условный, нереалистичный элемент, который являлся принципиальной опорой композиции и сюжета, который определял все построение, обуславливал действие произведения. Появляется нечто, что позволяет преодолеть препятствия и добиться трудной цели. Или иначе: автор дает неожиданную вводную, обеспечивает этим нештатную ситуацию – и герой должен выкручиваться необыкновенно.

И все средневековые драконы, колдуньи и сверхбогатыри, любовные и целебные снадобья – это все фантастика. И Валгалла с Одином, и Нибелунги – все фантастика.

Ибо литература – должна возвышаться над обыденностью, литература отнюдь не просто транслирует окружающую информацию адресату. Ей имманентно свойственно поражать воображение, давать идеал поведения, расширять границы познания, вселять веру в человеческие силы и возможности, манить в неведомое!..

Что есть характернейшее отличие фантастики от не-фантастики? Что в ней – автор придумывает все, что только может придумать, изобретает любые ситуации, любых существ, которых только может измыслить, изобрести. Из этого следует – что? Что фантастика – авангард литературы, острое литературного прогресса, лаборатория небывалых объектно-семантических конструкций! Ибо человек по устройству своему придумывает все возможное и невозможное.

И тогда следует интересный вывод – только никому не падать:

Реализм – это частный случай моделирования всевозможных ситуаций, совпадающий с изображением жизни именно и только в формах жизни. Буквально. Ну, типа как состояние покоя – это частный случай равномерного прямолинейного движения.

Фантастика полнее и мощнее реализма – тем, что в ней может (и должно, у приличного писателя) быть все, что есть в реализме – плюс то, чего в реализме нет. (Ну – это в принципе, теоретически, сами понимаете. Большинство фантастов убогие графоманы – как и большинство реалистов, которые не в состоянии изобрести даже штопор.)

Что такое «Город Солнца» Кампанеллы? Что такое «Утопия» сэра Томаса Мора? Фантастика чистой воды, леди и джентльмены! Во-первых, все происходит в вымышленной стране, во-вторых там происходит то, чего нет, а только мечталось бы. Так это – что? Социальная фантастика со служебным элементом фантастики географической, путешественнической. И это – великая литература и знаковая философия, это социология и политология, весьма опередившие свое время – на века. Через века посеянные ими семена прорастут – и прекрасными цветами, и зубами дракона, и они будут вести кровавые войны друг с другом. Вот что такое фантастика.

А кто только ни летал на Луну! Сирано де Бержерак в XVII веке, барон Мюнхгаузен в XVIII, а уж Жюль Верн в XIX отправил троих астронавтов на Луну так, что после возвращения на Землю первого американского лунника в 1969 году мир рот разинул: точки старта и приземления с точностью до сорока миль, размеры снаряда (корабля) с точностью до полутора футов, вес с точностью до центнера, время полета – отличалось на пять часов, численность экипажа – трое: предсказал Жюль Верн сто лет назад!!! Плохой писатель? Беллетрист плохой – а писатель гениальный: литературная форма, наивная эстетика – это еще не все.

Великая эпоха Просвещения вселила веру во всемогущество человеческого разума – хотя в то же время гениальный Гофман писал блестящую фантастику, э-э... социально-психологически-магическую, если можно столь неуклюже и примерно выразиться. Короче, фантастика как выходящая за флажки философская метафора, а не как научный проект или прогноз.

А вот великий XIX век создал именно что научную фантастику, полностью и навсегда. И если Эдгар По и его ровесник Николай Гоголь создали фантастику метафорически-магическую, жуткие чудеса у одного и другого – то... Видите ли, XIX век как самая великая в истории научно-техническая революция начался ведь в 1782 году с изобретения Уаттом паровой машины двойного действия (она – современник Американской независимости и Французской революции) – и закончился в 1914 Великой войной, где были уже автомобили, поезда, радио и телефон, авиация и отравляющие газы, пулеметы и танки, конвейер и электричество. Всемогущество человеческого разума и перегрев цивилизации привели к кризису.

Провидели его писатели-реалисты? Ни хрена они не провидели. Они писали о всемогуществе разума, победе гуманизма и светлом будущем, если о нем задумывались. Головокружение от успехов. Антисептика, прививки, бесплатное общее образование, все права женщинам, окультуривание дикарей – о, то было время великого оптимизма!.. Достоевский? Кьеркегор? Ну, бывают люди с врожденной депрессией.

И вот в последней трети этого века малоуспешный французский беллетрист Жюль Верн начинает серию книг для внеклассного чтения по географии. В условной форме увлекательных авантюрно-приключенческих романов. На театре всех природно-климатических зон Земли. А

чего не знает про Северный Полюс (еще не открытый) или еще чего – про то творчески фантазирует. Успех! И Жюль Верн начинает домысливать про что ни попадя: подводные лодки, водолазные скафандры, летающие корабли, сверхгигантские суда и пушки и так далее. И со временем многое сбылось! Ибо: он имел дар правильно сочетать и оценивать данные современной науки и техники, чтобы вынюхать, интуитивно определить основное направление развития в какой-то области и воплотить конкретный результат в зримом предмете, обрести деталями, описать внешне и в действии.

С точки зрения беллетристики его романы не то чтобы ужасны – они просто стоят вне литературы. Примитивный язык, условно-плакатные характеры из одной главной черты, психология детской байки, бредовая мотивация: а вот сделали так, потому что захотелось, редко иначе. А книги – полтора века живут, читаются, экранизируются! Значит – литература?!

Значит, Жюль Верн есть главный родоначальник именно научной фантастики, вернее – научно-технической. Ибо всегда подбывает именно научные основания под все свои необыкновенные изобретения. Просто главный инноватор в классической литературе.

А вот Герберт Уэллс – это уже гений. Человек странный, удивительный, великий. Пророк. Ему мало частного изобретения в нашей жизни, хоть бы и у завоевателя. У него изобретения меняют весь мир. Один доворот фантастики – и весь мир смещается, как в калейдоскопе. «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров» прежде всего – это реальный мир, который реалистически реагирует на фантастическую вводную. Мир показывается как необычный сколок, под необычным ракурсом. (Недаром это время импрессионизма и постимпрессионизма в живописи, приход авангардизма и кубизма).

То есть отличие Герберта Уэллса: фантастическая вводная во-первых научно мотивирована и обоснована; – во-вторых она является причиной и основой всего действия, центром всех событий; – и в-третьих вся психология людей, их отношения личные, служебные и общественные, их житейские заботы и рабочие обязанности написаны с полной достоверностью и в совершенно добротном таком реалистическом ключе.

У него под сотню рассказов, каждый из которых может быть основой фантастического романа или фильма. И пожирающие людей пауки, и жуткий ураган на остановившей вращение Земле, и ставший невесомым человек, и так далее.

Нельзя сказать, что Уэллс – писатель стилистической силы Диккенса или Гюго. Нет, просто писатель. Без дурновкусия и претензий, язык прост, индивидуализацией прямой речи и иронией владеет, читать можно нормально.

Но!!! В 1913 году Герберт Уэллс издает роман «Освобожденный мир», где описывает атомные бомбардировки войны 1959 года! Резерфорд еще скептически хмыкал при словах об использовании ядерной энергии, Лео Сциларду еще 20 лет оставалось до идеи цепной реакции, а Уэллс уже бомбил и сжег 200 городов материка (как будет в 1959 на штабных картах военно-ядерного варианта...).

В русской литературе основателем жанра научной фантастики является Фаддей Булгарин, есть у него несколько вещей. В советской – блестящая классика Алексея Толстого: «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина». Работал до войны очень ценный Александр Беляев.

Потом гайки у нас прикрутили. Никакой фантастики! Хрен их знает, хитрозадых писателей, что они имеют в виду в своих баснях про другие, якобы, планеты.

И только после XX Съезда – среди прочего разрешили и фантастику. Ну, не совсем всю, Оруэлл был всегда в СССР под запретом, но в основном разрешили. Издали множество бумажных книг в издательстве «Мир», издали 25-томник зарубежной фантастики в «Молодой гвардии». Мудрец и тонкий стилист Брэдбери, Шекли с безумными шутками, Азимов с законами роботики, Гаррисон со смачными фантастическими боевиками, и так далее и так далее. Лема стали издавать – мыслителя, футуролога, отчасти даже новатора-постмодерниста.

А реанимация родной фантастики – о, это песня и сага! Сколько было всего! Беляева всего переиздали: «Ариэль», «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля», «Продавец воздуха»... – все, все! Александр Казанцев с его «Арктическим мостом», Владимир Немцов – о, меня когда-то его книгой «Осколок солнца» наградили за окончание какого-то класса, пятого, наверно. Немцов – это картина: львиное лицо, бальзаковская грива, бархатный шитый (не купить таких было) пиджак, галстук-бант, так он еще мог трость взять. Мэтр! Писал чудовищно. Фантаст Генрих Альтов, а на самом деле автор ТРИЗа – Теории решения изобретательских задач Генрих Альтшулер, знаменитый был человек, составил когда-то «регистр Алтова» – типа перечень-каталог всех фантастических приемов и ходов. Но писал не очень. Но человек редкостный, заводной, умница. Так ему мало было вести при Дворце пионеров всесоюзный семинар юных фантастов, школьников то есть. Они там учинили приз «Хрустальная калоша» – за худшую книгу года. Позвали гостей, писателей. И вручили «Калошу» гордому эффектному Немцову. На его лице была мечта гестапо загнать всех умных детей в газовую камеру. И не успокоился, обивал пороги и писал докладные, пока семинар не закрыли навсегда.

А глыбой советской фантастики, матерым человечеством, рядом с которым поставить некого, был Иван Антонович Ефремов. И главной научно-фантастической книгой эпохи была «Туманность Андромеды». Люди коммунистического будущего были накачаны стремлением познавать, открывать, создавать и утверждать по самое не могу, и все это с невероятным благородством. Печатали это даже в «Пионерской правде», «Комсомольской правде», «Технике молодежи», разве что на обоях не печатали. Эрг Ноор, Дар Ветер, Мвен Мас, Рен Боз – имена до сих пор помню, какие-то детско-бандитские клички из театральной постановки в приюте для дефективных. Пародии на эту книгу писали, но такие не злобные: Дур Шлаг, Кар Низ, очень-очень хорошие люди...

В тени этой «Туманности...», как под дружественно-ядерным зонтиком, и распушталась советская фантастика 60-х. Неизбежность коммунистического будущего не обсуждалась. Гармоничность и благородное интеллектуальное трудолюбие человека будущего не обсуждалось. Преступность в будущем не мыслилась. Бытовые конфликты тоже – все мудрые альтруисты. В комплект к этим книжкам следовало прилагать лимон – чтобы уравновесить подташнивание от фальшивой слащавости светлого будущего.

И вот сейчас в заключение вводной части мы попробуем подбить бабки, уже можно: так чем же все-таки фантастика отличается от просто литературы?

Во-первых, необходимо различать фантастику как жанр и фантастику как прием.

Жанр обрел (в то время) собственную атрибутику: прежде всего космические корабли и путешествия. А также всевозможные технические приспособления будущего: беспилотные автомобили, радиобраслеты, роботы для всех нужд жизни и так далее. Этим сразу отличалась, выделялась и определялась фантастика. Понятно, что подавляющее большинство этих книг были полная лабуда. Но – по ним составлялась репутация жанра. Репутация суб-литературы.

А вот фантастика как прием может быть хоть у Булгакова, хоть у Оруэлла, хоть у Гоголя – и ничего. Потому что там: а) высокое общее качество текста; б) нет космических кораблей и прочего, конкретно роднящего с миром ржавых звездолетов и идеальных идиотов.

Во-вторых:

У «чистого» фантаста вычлени из книги весь элемент фантастики – и останется серый, заурядный, непримечательный, никому не нужный текст. То есть: он вылезает только за счет именно фантастической атрибутики. И до большой литературы явно не дотягивает. Фантастика у него не является обязательной для постижения сложности жизни и психологии героев – то же самое можно было передать и реалистическими средствами.

А вот если книга хорошо написана, и с мыслями там все в порядке, а элемент фантастического несет нагрузку двигателя сюжета, композиционного каркаса, выполняет роль телесъемки с неожиданных, в реальности невозможных ракурсов и тем дает картину новую, необычную,

заставляющую задуматься и увидеть невиданное, понять непонятое – тогда это та самая большая литература.

«Путешествия Гулливера» – это большая литература; фантастика. И «Франкенштейн» фантастика, причем часто классифицируется именно как начало фантастики научной – а ведь символ, философская притча получилась, уже двести лет ее экранизируют и читают.

Вот «актер» было званием низким и сословием подлым, их с черного хода пускали, за оградами кладбищ хоронили. А теперь фанат к нему и не пробьется за автографом: слава, богатство, элита общества, кто талант и пробился. «Клоун» – это кривляка, плебс на ярмарках потешал. Я бы за великую честь почел Леониду Енгибарову лично поклониться, нет его давно; а Славу Полунина, кажется, никто не думает презирать, да?

Видите ли, граждане. Этикеты существуют для идиотов и снобов. Которые сами ничего оценить не могут – и гордятся тем, что имеют мнение своей тусовки. Состоящей из таких же идиотов, только более авторитетных. (Правда, этикетки еще для школьников и студентов – но это от необходимости дать общий кругозор, попытаться приподнять на апробированный культурный уровень.)

И если читаешь книгу – а она написана хорошо, и мысли в ней мощные, и характеры запоминаются на всю жизнь – это литература. А если скучно, затянуто, серо, коряво – это не литература, что бы ни говорили о ней любве тусовки, от пивняка до Академии Наук. У нас и Брежнев был литературой, и Бродский был литературным трутнем, и Турсун-заде выдающимся классиком.

И даже если говорить об «ах-звездолетах» – «Уснувший в Армагеддоне» Брэдбери – это гениальный рассказ. И «Калейдоскоп». И «Вельд». И «Урочный час». Перечитайте, кто забыл, они короткие – да никто уже в его время в Америке не умел писать такие рассказы! Бирс, Лондон, О. Генри, Андерсон, – все уже умерли, Хемингуэй замолк, а новых не появилось до сих пор. Это великая философская литература, мудрые и добрые притчи, страшные и точные пророчества – гениальный Рэй Брэдбери. И писал ведь блестяще!.. «И слепой нищий, протянувший руку за звездами, развернулся на огненном веере и убрался восвояси».

Это была когда-то «Большая тройка – мировая слава, огромные тиражи, толпы поклонников: Брэдбери, Лем, Стругацкие. (Кстати, советские писатели и литчиновники ненавидели Стругацких еще и за то, что они были у нас на первом месте по переводам и тиражам в мире – с огромным отрывом от всех прочих.)

...И вот началось все вполне тихо. Два интеллигентных образованных брата, старший референт-переводчик с японского, младший звездный астроном, решили написать научно-фантастическую повесть. У старшего уже был опыт: и несколько рассказов, и несколько литературных переводов с японского, а главное – «Юность» напечатала его (с соавтором) «анти-милитаристско-антиамериканскую» повесть «Пепел Бикини» – последствия испытаний атомной бомбы в Тихом океане в 46-м году: японские рыбаки на шхуне от лучевой гибнут и тому подобное. Весьма советско-пропагандистское произведение, честно говоря: про ужасы западного бездушия и военной черствости, ну и страдания простых жертв.

Итак – повесть вполне получилась: «Страна багровых туч», 1959. Венера, советские космонавты-первопроходцы, мужественное освоение новых пространств и богатств, и так далее. Коммунистическо-техническо-космическо-позитивная фантастика. Типа геологи в тайге или строители ГЭС в Сибири, проблемные разговоры, советские отношения, ну, только на Венере. В общем потоке прочих подобных сочинений.

Потом был «Путь на Альматею», и в общем это то же самое.

Утапывание площадки; период ученичества и разгона; набить руку и набраться опыта, вдвоем работать, опять же, непросто, живя в разных городах: Аркадий в Москве, Борис в Ленинграде – приспособиться надо.

Приспособились.

И в 1962 году произошло рождение советского писателя – ни на кого не похожего, задевающего воображение и впечатывающегося в память, легко и мастерски пишущего, и – как бы походя, в приключенческом сюжете – затрагивающего серьезнейшие, вечные проблемы человечества, обострившиеся именно сейчас. Это был шок! Вышла «Попытка к бегству». Повесть (или небольшой роман). (Вообще, кроме прочего, этой книгой Стругацкие нащупали свой коронный – и лучший для книги, по мнению многих писателей, – объем: 200 страниц. Не длинно и не коротко, пространства хватит для всего – но наскучить не успеешь.)

Первый же абзац книги уже примечателен и характерен: дачный пейзаж после дождя и утренняя пробежка героя. Простые короткие обороты, многократное повторение в одной фразе глагола «был». И сам Вадим – молодой, спортивный, ироничный. Чистенькая молодежная проза эпохи, все приметы – и явное влияние хемингуэевского стиля, как на всю эту генерацию.

А приметы и знаки будущего – космический биокорабль, ремонтирующийся биовертолет, турпоездка на охоту на дальнюю планету – даны как бы мелким обыденным штрихом, без объяснений и разъяснений, никаких инструкций и экскурсий. Точно как если бы ехали на автомобиле на рыбалку, говорили о палатке и блеснах. Вбирающий из окружающего пейзажа энергию корабль описан между прочим, не подробнее и не значительнее, чем пробежка, приветствия соседа или был бы описан обычный заправленный автомобиль.

Если ясный чистый язык, иронически легкий, простой и в высшей степени качественный, высокопрофессиональный и абсолютно ненавязчивый стиль, акцентированный смачными оборотами – первая особенность Стругацких. Стиль литературно образованного и сведущего человека с абсолютным языковым слухом. То. Неакцентированная житейская естественность, обыденная привычность и простота всех фантастических элементов – вторая принципиальная особенность Стругацких. Скорчер, глайдер, мнемокристаллы – такие же обычные вещи, как пистолет, джип и наушники: не вызывают никаких эмоций, не задевают внимания: никак не отвлекают от действия.

То есть – важно, принципиально! – фантастическая атрибутика у Стругацких всегда оправдана, всегда функциональна, несет нагрузку как необходимая и естественная часть действия, без которой нельзя. Но! Никогда не является причиной действия, его спусковым механизмом, двигателем сюжета! И близко не является самоцелью. Она никак не отвлекает от действия, самостоятельного значения не имеет никакого, сама по себе не нужна низачем. Никогда и близко не в центре внимания!

Фантастическая атрибутика у Стругацких – это как элементы снаряжения спецназовца, отправляющегося в дальний рейд. Саморазогревающийся сухпай, антидот, выстреливающийся клинок пружинного ножа – это лишь экипировка, того же ряда, что берцы и кепка, и внимания им уделяется не больше.

Как еще пояснить глубже? Вот взяли человека XVIII века и поместили в наш – машины и мобильные телефоны: он прибалдел, вскоре привык, и живет человеческими заботами и ценностями, мыслями и страстями, которые от техники не меняются! И перестает обращать внимание на машины и компьютеры. Не в них жизнь. Вот у Жюль Верна и Уэллса – они определяют всю проблематику вещи, играют **ключевую** роль в произведении. А у Стругацких фантастическая атрибутика выполняет чисто служебную функцию: мотивировать расширенные возможности героев.

Фантастическая атрибутика у Стругацких – это объективация метафоры, предметизация метафоры, что ли, детализация... Как оказались в другом мире? А космический корабль через подпространство. Как по ней перемещаются? А глайдер. Внимания этому инструментарию – минимум, только чтоб был корректно вписан в эстетическую структуру текста. Краткие самособой-разумеющиеся упоминания об обычных вещах.

Вот это в «Попытке к бегству» тоже обращало на себя внимание, задевало непривычностью. Это вызывало непонимание, вопросы. Никаких подробностей про звездолеты, перелеты, невесомости, перегрузки, приборы, космическое путешествие как важный предмет изображения – ничего этого не было. А ведь это составляло все важнейшую часть тогдашней научной фантастики советской! И вдруг!.. Стругацкие отменили научно-подробно-технологическую составляющую этой самой научной фантастики.

Это был перелом. Революция. Реформация. Строго говоря – это уже не была научная фантастика, а нечто иное. Но тогда этого никто особо не различил, не разграничил, не классифицировал.

Следующая необычность для научной фантастики – хотя совершенная обычность для старинной и классической фантастики социальной. Люди! На некоей бесконечно далекой и никогда не посещавшейся землянами планете – обитают нормальные люди. То есть рост, внешность, соображение, цивилизация – просто аналог земной. Ну, с поправкой на уровень развития цивилизации – скажем, феодализм, и подробности чисто местно-технические, типа копий с зазубренными наконечниками. Вы вспомните «неземных людей» хоть у Герберта Уэллса, хоть у Алексея Толстого: в лучшем случае хилые и голубоватые. А здесь – просто как другой материк или другая эпоха.

То есть! То есть! Никакое это не космическое путешествие на хрен!!! Это путешествие в чуть-чуть другой вариант НАШЕГО мира, где обитает и действует НАШЕ человечество! И отношения наши, и психология наша, и как снимающая все сомнения главная особенность – весь физический облик полностью наш! Мы это, мы, ну в лоб же говорится, ну зеркало подставляется!

Вот все «научно-фантастическое» оформление Стругацких – это просто рама зеркала, которая ограничивает его от прочего пространства, за эту «фантаст-раму» читателю удобно зеркало держать – чтобы смотреться и видеть: каков он сам и каков мир, если все подсветить необычным светом, в котором становятся контрастно заметны невидимые обычно особенности. Это просто зеркало человечества с цивилизационным сдвигом. А цивилизационный сдвиг показывается через сдвиг пространства – самым простым и понятным способом космического путешествия. И это одновременно мотивирует сдвиг во времени и сдвиг на тропинке цивилизационного развития.

На фига тут много звездолетов? Космический перелет Стругацких – это метафора перемещения в нашу собственную реальность, данную чуть под другим углом зрения. Условным. Для освежения восприятия. И лучшего понимания.

Всем, конечно, понятно, что авторы отнюдь не ставили себе задачу вообразить и изобразить иной, неземной мир. И всем понятно, что они изображают, конструируют, моделируют наш мир, НАШ, наше человечество и наше общество – с доворотом. Вот в таких условиях, вот в таких предлагаемых и воображенных обстоятельствах.

То есть понятно, что никакая это не «научная» фантастика – но фантастика социальная, социально-психологическая, политическая, наконец, фантастика. (М-да, а политическая – это было особенно чревато в те времена. Политической сатиры под маской фантастики – боялись и не хотели.) А «научно-фантастический» антураж – условен.

(Кстати, мелочь, но тоже характерная. В «Попытке...» есть диалог на английском в обрамлении серии реплик. Что было категорически несвойственно советской литературе того времени. Не «Война и мир», чай, с их страницами на французском в начале. И – откуда бы шпыхать советскому командиру военного времени по-английски? Немецкий – и то в пределах разговорника! Но – текст сразу приобретает нарядно-остраненный оттенок. Маде ин не здесь. Вот отсюда тянется нить к обильному щеголянию английским – где надо и не надо – в современной нашей «продвинутой» прозе.

И здесь же впервые вводят Стругацкие отдельные японские слова и реалии в разговор и быт. Чужеродная экзотика, штрихи неизвестного, эхо неземного буквально мира! Два меча и прочее. Не пройдет и сорока лет – войдет в литературную моду и этот околяпонизм, суши с бусидо и сэппуку с сашими...)

Генеральный метод Стругацких в изображении собственно научной фантастики – минимализм. Не в ней дело.

Так что как попал бежавший заключенный концлагеря, офицер танкист Саул Репнин в светлое будущее – никого не касается. Убежал. Из своего времени – как из концлагеря. В хорошую жизнь.

И что же – он хочет теперь переустроить наш мир наилучшим образом? Да мир и так прекрасен! Но он – хочет бежать подальше. На необитаемый остров. В будущем – это непосещаемая планета, куда не ходят, пардон, не летают земляне. С Земли он хочет бежать вон как из концлагеря!

И возникает преинтереснейшая встреча трех цивилизаций: середины XX века, прекрасного коммунистического XXII, и злобного концлагерного Средневековья. И все три оказываются в контакте с непостижимым и вечным движением цивилизации Высшей, неведомой, бездушной, машинной – ну, это то вечное движение странных механизмов из ниоткуда в никуда, из одного огня в другой, на той безымянной даже, номерной планетке, куда они втроем прилетели.

Стругацкие были иногда гении истинные – интуитивные, по наитию, чутьем; вот когда художник нутром ощущает, легким восторгом в животе, что сделать вот так – это будет кайф, классно, что-то в этом есть. Подсознание, оно же бывает мудрее и точнее сознания. И сейчас даже непонятно, как они могли в этой небольшой и сюжетно такой вроде простой вещи создать такую мощнейшую, такую сложную коллизию! Знаете, мощная была в Союзе на 1962 год литература – так ведь никто, вообще никто подобного не залудил! Правда, их было двое, они были здоровенные, и они были в возрасте цвета, самый сок: Аркадию 37 – Борису 29. Абсолютный расцвет художника. Возраст пика.

Суровая этика XX века спорит со взглядами светлого будущего. Не падайте – но политкорректность еще не изобрели тогда! А у Стругацких прекрасный и безоговорочный гуманизм непричинения зла никому – сталкивается со здоровой прямоотой человека, понимающего, что зло необходимо карать и искоренять, если вы хотите создать добро. Политкорректность как непротивление злу насилием и вера во всеобщее братство, ее благими и бессильными пожеланиями вымощена дорога в ад – противостоит здравому смыслу и жизненному опыту, добру с кулаками, способности исправить жестокою несправедливость и покарать неисправимое зло, ломая его сопротивление. Во имя жизни неповинных людей и тому подобное. (Вот сегодня, 55 лет спустя, гуманное отношение к террористам и насильникам, толерантность к извращенцам и идеологическим растлителям – это вполне предсказанная Стругацкими проблема, и проблема животрепещущая: привет от мигрантов, от леваков, от бандитов и либералов. Одна из черт гения – предсказательная способность.)

На этой планете – ЕН7031, что ли, – типа колымский концлагерь среди снегов. Охранники с копьями одеты в вонючие шкуры, зэки в рубахи из мешковины. И когда троица землян – молодые и гуманные Антон с Вадимом и битый-тертый Саул, который к ним напросился – их освобождают – вот тут мы имеем нечто примечательное. Зэки, рабы, пытаются убить освободителей, защищая своего тирана-стражника!

Ну, потом стражник объясняет, что их должны были освободить, а теперь убьют, раз они его не уберегли. Но ситуация страшная, прозрачная, символичная, – а уж для СССР!.. Хотя умных всегда было мало, и мало кто что понимал, даже в книгах... и до сих пор обычно ничего не понимают. Ну, иногда оно к лучшему, а то перестали бы Стругацких печатать еще тогда...

(Это в те годы была присказка: «Написать на хорошую книгу честную рецензию – все равно что написать на нее донос».)

Рабы концлагеря насмерть воюют с освободителями, защищая своих стражников! Ибо им – двадцати из многих тысяч, считай – из всех, – пообещали свободу, уже почти отпустили. Их, рабов, интересует только собственная шкура, они и не воображают изменить положение вещей, положение незыблемо, можно бороться только за себя. А значит – и за начальство, и за имеющийся порядок. А вот такие отношения между людьми, вот так их мир тут устроен.

Много вы знаете книг, где рабы дерутся против освободителей, защищая своих стражников? Про перипетии и подробности советской истории не возникают аналогии, нет? А вообще о сущности государства и роли человека в государстве – мыслей не появляется? Вот так-то писали Стругацкие. Которых завистливо «не уважали» литераторы столь же маститые, сколь и скудоумные, забытые уже за бездарностью.

Так ведь и это еще не все! Именно эти рабы – по приказу власти! под страхом кары! – жертвуя своими жизнями, пытаются приобщиться к высшей цивилизации, научиться управлять неведомыми и загадочными мощными машинами, использовать их для блага государства. Они не просто зэки в концлагере – они одновременно и как бы в научной шарашке. Их мучения и гибель имеет высокое цивилизационное и государственное значение: они работают на прогресс, на овладение тайнами и силами всемогущей цивилизации будущего. На свое государство, ты понял?..

Только портрета Сталина не хватает над проволокой этого концлагеря, нет?

Они встают перед сплошным потоком машин, те давят их и безостановочным потоком движутся дальше, из огненной пустоты в огненную пустоту. Как вам метафора машинного прогресса? Его облика, движения и смысла?.. Эту вечную переброску техники из одного измерения в другое организовали, вероятно, загадочные Странники – некие высшие существа Вселенной, всемогущие и неизвестные, только следы их деятельности оставляет. Вот такие Демиурги научно-технического мира, символ Высшей деятельности, которую людям пока не постичь... Они – рукотворная Природа. Зачем идут эти чуждые, непонятные машины? Хрен их знает... Зачем люди пытаются овладеть ими? Ну, это огромная мощь, тогда можно покорить всех соседей и врагов...

Нет, вы замедлите чтение-то, вдумайтесь спокойно: веками мы изобретаем все новые машины, старые устаревают и списываются, исчезают в забвении, в Лету канут, – а им на смену мы создаем все новые, более сложные и совершенные, и жертвуем этому занятию своим временем, здоровьем и жизнью. И что – стали счастливее? Что – обрели смысл жизни?..

Но некоторые машины отчасти поддаются управлению отдельных удачливых счастливых. Вот и успех. Ты овладел частью неведомой силы. Теперь тебе разрешат идти домой, впрягшись в сани с погоняющим стражником. Вот и награда за трудовой подвиг.

Что же делает озверевший от гадства этой жизни Саул? Расстреливает эту бесконечную механическую колонну из скорчера – сверхмощные электрические разряды взрывают и размывают технику, вечное шоссе вдруг пустеет – но у человека кончаются заряды, поток машин все выходит и выходит из начального огня – и движется в огонь конечный, исчезая в нем, как сотни лет подряд. Не остановишь цивилизацию! Злую, чуждую, непонятную, неподдающуюся, пожирающую человеческие жизни, – все равно ничем не остановишь!..

Прогресс не остановишь. Хоть и непонятна его суть, и бессмысленна, и жесток он. Протест, восстание – это нравственно, благородно; а что толку?..

Раненного рабами молодого идеалиста-коммунара-из-будущего вылечивают, на охранников наводят шороху; а дальше что?

А там в снегу валяются замерзшие зэки, за разные преступления попали, и уголовные, и политические, но самая тяжкая статья – «желавшие странного». Самые бесправные. Аналогии с 58-й статьей ни у кого не запрашивается? Что есть «странное» – непонятное, необыч-

ное, непривычное, нетрадиционное, необщепринятое? Покушение на устои!!! Это мысленно замахнуть на порядок вещей! А в том числе, объективно значит – и замахнуть на власть, на ее священную незыблемость, на устои государства! На все мировоззрение наше, на нашу культуру, верность святыням, дух предков! Усомниться в благой правильности нашей жизни, посягнуть на традиции! У, сволочь! Отщепенец, маргинал, чужак, пятая колонна, английский шпион!

«Хотевшие странного» – это кто? Изобретатели, алхимики и просто химики, ученые и поэты, мыслители и скептики. А также авантюристы, нонконформисты, бродяги, прожектеры, еретики-проповедники. Короче – все те, кто и додумывается до всего нового, кем и жив прогресс, кто и двигает вперед человечество. За что их и уничтожают. Консерваторы гнобят новаторов. Для самосохранения государства. «Хотевшие странного» – соль земли, нерв человечества. Н-но – от них много беспокойства.

И Антон с Вадимом, молодые энтузиасты-гуманисты из светлого Завтра, говорят, что, конечно, придется поработать, чтоб навести на этой планете порядок. Тысяч двадцать добровольцев-землян, лет пять работы, построить больницы и школы, просвещение, медицина, дороги, благоустройство, пища, хозяйство, комфорт... На что Саул хмыкает. Вы не сможете создать для местного человечества другую историю, говорит он. Свою историю, свой комфорт и справедливость – надо выстрадать и создать самим, ничего тут не поделаешь.

Если вы обрушите изобилие на потомственного раба и эгоиста – никакого коммунизма не получится. Будет или колония разжиревших бездельников без стимула работать – или самый сильный мерзавец подгребет все добро себе под зад, а вас вышибет вон. (И это 1962 год! Задолго до российской приватизации – или эпидемического иждивенчества афроамериканцев и европейских социальщиков.)

...А потом они возвращаются на Землю – и Саул исчезает, оставив записку о том, что у него оставалась всего одна обойма, и он решил сбежать. А теперь возвращается. У него еще целая обойма. Написано это на обороте старинного документа с орлом и свастикой, на старом немецком языке.

И самый конец – погиб в побеге заключенный Саул Репнин, убит немецкий офицер, другой ранен.

...Ты никуда не убежишь от своей судьбы. Куда бы ни улетел в другие миры – это просто варианты твоего мира с теми же проблемами.

Так Алексей Толстой в «Аэлите» (блистательно не понятой блистательным Выготским) столкнул Лося на Марсе с той же вечной и обреченной любовью и разлукой, и их с Гусевым – с той же пролетарской революцией и гражданской войной. Это – 20-е послереволюционные годы, а в постшестидесятнические 70-е ленинградский (потом израильский, потом московский) поэт Генделев, друг мой Миша, писал: «От вселенской погони не уйти, не уйти никуда, на небесном погоне оборвалась звезда...».

Еще это книга о бессмысленности переезда и эмиграции, о принципиальном отсутствии берега обетованного. От чего захочешь бежать – то и встретишь.

И еще – о стоицизме. Ты можешь не увидеть результата своих трудов. Можешь погибнуть. Но драться надо. А потому что это смысл твоей жизни, и твоя судьба, и твое дело, и кто-то должен.

И еще: если бы такие бойцы не гибли на своем месте в своем времени – никогда не настало бы Светлое Завтра со сплошным изобилием, творчеством и безопасностью.

Стругацкие были правильные мужики. Если нельзя не драться, чтоб остаться человеком и побеждать зло – дерись! И побоку все пустые разговоры, время рассуждать – и время делать, драться тоже время.

Вот такая вышла повестушка, как резные китайские шары с фейерверком. И если стал немного понятен уровень их сложности, их многозначности, их обманчивой легкости и внешней простоты – едем дальше. Тогда дальше будет уже легче. Проще.

... Так, фактически у нас уже прошел концентрат двух лекций – обзор фантастики и въезжание в «Попытку к бегству». Сделаем маленькую интермедию, отвлекусь и расслабится, вот, записки... Экранизации... Тарковский... Герман... мнение. Ну – мнение мое собственное, никого ни к чему не обязывает. Экранизации ни в дугу, ни в Красну Армию.

Да, Тарковский был гений, и Герман был гений. И что? А вот. Гений – это абсолютная индивидуальность, штучный экземпляр, собственное видение мира. Из этого следует что. Что наложение одного гения на другого гения всегда дает фигню. Сапоги всмятку. Смесь бульдога с носорогом.

Что есть экранизация? Перевод произведения из системы условностей литературы в систему условностей кино. Что требуется? Прежде всего, главное и принципиальнее всего: передать суть, смысл, главную идею, главную мысль – а также настроение, эмоциональный строй, атмосферу чувств. И: сохранить приметы места и времени, детали, антураж, запах эпохи и среды неповторимый.

Кто главный при экранизации? Автор книги главный при экранизации, писатель, создатель этого мира! Книга первична и неизменна, экранизация вторична и их может быть сколько угодно. Книга от экранизации никак не зависит, она не меняется! А режиссер-постановщик? А он переводчик. Он должен умереть в переводе – чтобы дать жизнь произведению автора на другом языке!

На деле? На деле режиссер вам покажет, кто тут должен умереть и в ком! Все сдохнете – но он заставит делать то, что ОН видит и ОН хочет. Он ни хрена не экранизирует! Он создает и воплощает свое собственное произведение – отталкиваясь от литературной основы, которую использует. Автор написал книгу? А теперь – заткнуться и молчать. Режиссерское кино.

За что я, кроме прочего, любил и уважал Балабанова – он был единственный, кто знал, чего хочет, и сам писал себе сценарии. То есть сначала не просто видел все кино в голове – но и придумывал сам, рождал и вынашивал сам. А обычно режиссер – в креативно-интеллектуальном плане совершенный импотент: ходит и мычит: а-а, дайте мне сценарий, я не знаю, чего я хочу, но как-нибудь вот так бы. Дают: а-а, не так, не так, переделайте здесь! Как переделывать? Ну вы же сценарист, вот и переделайте! Для меня всегда эта неспособность увидеть и сформулировать, чего тебе надо, была загадкой.

Стругацкие написали Тарковскому девять вариантов сценария, и когда в девятом вообще мало что осталось от книги, Тарковский счастливым голосом благодарно сказал: «Наконец-то у меня есть МОЙ сценарий!...» Но. «Сталкер – кино безусловно философское, но также: депрессивное, мрачное, статичное, в глухих тонах и красках, в грязи и разрухе, в людях безверие и разочарование, – слушайте, никто ни разу не радуется жизни, не шутит, не веселится ни по какому поводу; и лишь в девочке со сверхспособностями дана нам в финале надежда на будущее и изменение жизни – дети лучше нас, ведают и могут больше нас, в них – надежда на счастье мира.

Но нет нигде у Стругацких ни мрачности, ни депрессии, ни вялости действия, ни тусклых красок, ни тягостной безнадеги, а уж неврастеничных ботаников и подавно нет! Духа книги, жизнелюбия, авантюристичности, перерождения личности – да ни фигя. Ведь Рэдрик Шухарт из «Пикника на обочине – это нормальный парень, простой и хороший, который по жизни становится как бы немного авантюристом-разбойником-контрабандистом, и доходит до преступления, потому что иначе не получается у него – и, став преступником, заплатив непредсказуемым и безнадежным, ужасным перерождением любимой дочки за свои контрабандные похождения – став преступником и страдая сам, становится в конце концов праведником, про-

светленным, грешник становится святым: «СЧАСТЬЕ, КАЖДОМУ, ЗАДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫМ».

Обычный человек получает от Высших Сил всемогущество, он все может, любое желание Золотой Шар исполнит, да это же вопрос из школьных сочинений: «Что бы ты сделал, если бы все мог?» – и вот грешный и мелкий, частный и обычный человек, намучившись и добывая хлеб свой в поте лица своего со смертельным риском – возвышается до высших высот Человеческого. Вот как великие грешники проницали Истину и в раскаянии становились святыми. И все это обыденно так, по жизни так выходит, среди нормальных мелочей бытия.

Вы понимаете, это нужно столкнуться с непонятными нам супервещами, загадочным мусором неведомой Сверхцивилизации, и пытаться по-дикарски их как-то использовать, вот такой контакт со Сверхцивилизацией и смешные попытки дикарей в этот контакт действительно вступить, осознать, подняться до него, но они только крутят в руках эти загадочные приспособления, и от этих фарфоровых сосудиков, вызывающих зуд горошин и прочей ерунды, от этой Зоны, где были Пришельцы, – один вред, кругом у людей мутации от близости этой Зоны, и злой бизнес на этом делается, и исследователи гибнут, – и вот в результате самый лихой и бесшабашный контрабандист-сталкер, Рэд Шухарт, ходок в Зону – он таки вступает в этот контакт с неведомыми высшими силами – на самом высшем, сверхвысшем уровне!!! Счастье для всех людей – и Золотой Шар должен ведь исполнить это желание! Что может быть выше этой цели – при любом контакте, любом познании? Вот в чем смысл всей его жизни, и усилий всех людей, связанных с Зоной – и вот в чем высший смысл Контакта, который состоялся! Хотя люди не знают и не узнают – как и почему это произошло, кто посетил Землю? Но вот – произошло в конце концов! И только потому стало возможно, что для этого человеком надо быть! Пока сам в себе человека не выстрадаешь – никакой контакт с Высшими Силами невозможен!

Братцы мои дорогие – но ведь и так, здесь и сейчас, каждый из нас – может сделать все, от него зависящее, чтобы все люди были счастливы! И тогда Земля будет другой, мир будет другим! Ну, совсем счастливы или не очень, все или хоть один – но в наших силах сделать все! У каждого из нас есть крупинка этого Золотого Шара, у каждого есть маленький Золотой Шарик, который исполнит наше самое главное, самое сильное, самое заветное желание!

Такие дела. Вот такая книжонка. Развлекая, поучать? Все мы птенцы гнезда сократова и шекспирова.

Понимаете, чем отличается хорошая книга от плохой... ну, средней. Что хорошую надо хорошо читать. Спокойно и медленно. Вслушиваясь и осознавая. Перечитывая, вспоминая и передумывая. Вот чтобы она вошла в твое сознание целиком, и там расправилась в тесном пространстве черепа, чтобы все ее части, детали, ходы и веточки спокойно расправились и встали на свои места, и ты сразу мог видеть и слышать весь этот мир. И тогда ты увидишь такие узоры с разных проекций, такие картины там сложатся, что раньше и не подозревал. Прочитать любой дурак может. Осознать – это сложнее. А обычно читатель – поверху тр-р-р-р! – и думает, что теперь читал.

...Так вот «Сталкер» Тарковского внешне сложнее «Пикника на обочине» Стругацких – ну элитнее, что ли. Медленно, мрачно, трудно. А на самом деле: эволюция Тарковского – от «Иванова детства» и до «Ностальгии» – это путь постепенного отхода от муви и прихода к цепи статичных кадров-символов. Мы сейчас не будем дискутировать на эту тему – я хотел только сказать, что «Пикник на обочине» несравненно богаче и многоплановее своей экранизации, красочнее, активнее, позитивнее, интереснее, он вообще открыт массе мировых проблем человеческих. А «Сталкер» – это поиск смысла жизни потерянных людей в беспросветное время. Это не экранизация. Это проще и правильнее было написать специальный и независимый сценарий для этого.

«Трудно быть богом» Алексея Германа я много комментировать не могу. Это к Стругацким имеет такое же отношение, как дерьмо короля к церемонии коронации... простите, ради

бога. Весь фильм – это грязь, мразь, отвращение, рыгание, гнилые зубы, выпущенные потроха, и так два с гаком часа без всякого просвета, вы с ума сошли... я низко склоняюсь перед даром Германа, светлая память, но этот фильм был уже сделан психически нездоровым человеком, либо я вообще ничего не понимаю.

Стругацкие были абсолютно здоровыми, нормальными, здоровыми людьми! Любившими жизнь, с нормальным вкусом! Они не были слишком оптимистичны насчет счастья будущего человечества – как мудрые люди. Но все прелести жизни, красоту жизни, борьбы, дружбы, работы – это они понимали в полную меру, это был их мир, их ценности и радости. И вычитывать из «Трудно быть богом», что раз мир несовершенен и несправедлив, значит – бесконечно, непереносимо мерзок, грязен весь насквозь, вонюч и отвратителен – мог только человек, страдающий тяжелой степенью депрессии в форме прежде всего отвращения к миру.

Это метафора? А как же! Согласен! Но метафора – это на двадцать секунд, на пять минут, а на два часа – это уже творческий метод. Жизнь по колено в сплошной мерзкой грязи – как метафора грязи отношений, подлости власти и так далее; понимаю. Но уже понял, хорэ! (Это все равно что Ромео и Джульетта всю дорогу бродили бы по колено в крови между расчлененных трупов, а у Тибальда вываливались в грязь резаные кишки.)

Понимаете ли, чего знать не желают эти гениальные режиссеры в своей жажде идеала и самореализации. Эстетическая система книги есть ее важнейшее, принципиальное и неотъемлемое качество. Если ты принципиально меняешь эстетический строй на противоположный – то это дерьмо и бездарность, а не экранизация. Это самостоятельное произведение, мысль о котором пришла в голову режиссеру, когда он читал эту книгу (думал о прочитанном).

Такое кино отличается от книги, как краковяк от печки, от которой его начали танцевать. Да, это самостоятельное произведение. Так оно и отношения никакого не имеет к книге. И не фиг давать вовсе другим героям имена книги, и выдирать элементы сюжета книги – потому что это элементарное паразитирование на книге. Изготовление вторичного продукта. С намеками на первоисточник. Существовая на его фоне, запитываясь от него первоначальным смыслом, как по шлангу. Сам не могу, но жутко хочется переделать твое. Спасибо большое.

Ставить Стругацких надо так, как продолжают бесконечно экранизировать, пусть с вариациями вплоть до глупых, «Трех мушкетеров» или «Войну и мир»: изначально приняв, что книга – это главное, первоисточник, классика, а твоя задача – максимально точно и близко показать ее на экране; без всех этих режиссерских штучек самореализации творческой личности и создания самоценного произведения на базе книги как «первоисточника».

Бондарчук, «Обитаемый остров». Боюсь, что это просто очень слабо. Миленький субтиленький мальчик-красавчик, типа манекена, ну, которые моды демонстрируют: личико кукольное, глазки голубенькие, кудряшки золотенькие, и вечная улыбка дебила: космонавт, революционер, партизан, герой. Дурак дураком. Да его соплей перешибешь! И все время полумрак! И почему все время орут?! И дышат, дышат, грудь ходуном, аж глаза из орбит. Ну это же экранизация знаменитой фразы из Ильфа и Петрова, «Двенадцать стульев», режиссер все время командует: «Дышите глубже! Вы взволнованы!». И вот в кинообитаемом острове все неврастеники жутко крикливые и дерганые, и чуть что – дышат так, что аж ветер камеру колыхает.

Первую серию я лично осмотрел в кинотеатре. За деньги. Вложил труд и время. Вторую... ну, из любопытства в компьютере. Майн гот. Аллес шиссен.

С кино покончено. Театра не будет. Возвращаемся к книгам.

«Далекая Радуга». 63-й год, через год после «Попытки к бегству». Гораздо проще и реалистичнее, если можно сказать так о фантастике, которая не фантастика. Главное что? – это целиком и полностью эстетика и стилистика современной молодежной прозы. Физики, лаборатории, эксперименты, открытие новых явлений, риск для жизни – а также любовь и долг. Это интересно, это неожиданно: люди будущего – ничего особенного, точно как мы. Ну, правда,

там нет преступности и вообще подлости, все хорошие и благородные. Ну – физики, интеллигенты, воспитанные. И юмор у них современный, и приборы и запчасти друг у друга тырят – хоть и будущее, а все как у нас: на всех всего не хватает, и для пользы дела же.

То есть вообще точно так написана, точно с такими героями и общими проблемами, могла бы быть повесть о жизни физиков-экспериментаторов в наше (в то, соответственно) время. Таких повестей в принципе море было. В тренде. Ну, написано хорошо... но местами явные штампы – но штампы именно из расхожей молодежной прозы: ироничный как бы цинизм прикрывает нежные искренние чувства, грубоватость прикрывает стеснительное благородство, и так далее.

Неожиданность первая: трах – это будущее. На далекой планете типа дальнего городка-полигона. Это забавно. Это категорически противоречит устоявшимся, затвердевшим штампам: будущее – это совершенство отношений, духа и тела, все идеальны, благородны, и жизнь возвышенна. All together now совершают научно-социально-эпохально-трудовое свершение. И возвышенно преодолевают возможные трагические затруднения и проблемы, грандиозные и возвышенные, как в греческой трагедии. Короче, не люди, а бриллиантовые сокровища в марципановом мире. (Это, конечно, о советской фантастике, и именно научно-технической, и именно начала 60-х). В общем, это Ефремов с подражателями.

Неожиданность вторая: вся эта планета накрывается в результате катастрофы, вызванной экспериментом этих нуль-физиков-транспортировщиков. Две черных волны до неба идут с обоих полюсов, и когда встретятся – все погибнут. На единственном звездолете решают спасти детей, всех детей, больше никому места нет. А сами сидят на берегу океана, на пляже, и ждут конца. А по узкой дорожке меж двух черных стен плывут восемь несостоявшихся нуль-перелетчиков-испытателей, и держат на спинах товарища, играющего на банджо, и песня: «Когда, как черная вода лихая, лютая беда была тебе по грудь – ты не склоняла головы, смотрела в прорезь синевы и продолжала путь».

Это ново. Накрылись все! Хоть и будущее коммунистическое. Трудности и трагедии будут всегда. Ничего принципиально нового нам не покажут.

Ивана Антоновича Ефремова «Далекая Радуга» привела в бешенство. Он перестал иногда помогать и покровительствовать сравнительно молодым Стругацким – стал ревновать, завидовать и вообще стал идейным противником; а вес его был велик. Он правильно понял: эта повесть – просто плевок в его идеальное будущее: пошучивают, крутят романы внебрачно, беременеют тайно, крадут друг у друга ценные производственные предметы и грохают всю планету по собственному, можно сказать, безответственному научному раздолбайству. Что это за будущее с плохим концом?! Это к чему Партия людей призывает, товарищи, куда ведет?!

Но через год вышла «Трудно быть богом», еще через год «Хищные вещи века», и Стругацкие стремительно стали лидерами советской фантастики. Любимыми писателями студенчества и интеллигенции, и вообще продвинутой читающей молодежи до 30. Читали и старшие, но уже меньше. М-да, но номером первым они были неформально, не официально. Для читателей. Не для власти или писательской тусовки – там зубы мельче, но злости больше.

«Трудно быть богом» – вещь беспрецедентная.

Еще никем и никогда вымышленный, несуществующий мир не изображался столь зримо, выпукло, ярко, достоверно; с такими живыми характерами, ироничными или значительными монологами; с таким буйным живописным бытом: кабаками и портом, разбойниками и монахами, аристократами и простолюдинами.

То есть опять же: это мы, люди, это наш мир – и он не более фантастичен для советского человека, чем Древний Рим или современный Париж, которого он никогда не увидит. Это просто мы, люди, какие есть, живем и действуем в предложенных обстоятельствах.

Второе: язык! Язык блестящ – чистый, легкий, ироничный и смачный; а временами мрачно раздумчивый, или вообще язык учебника истории – если бы учебники истории умели писать ясно, конкретно и умно.

Афористичность! Несравненная афористичность этой книги! Сейчас, когда смешались все уровни образования и интеллекта, определить первое место в рейтинге цитирования невозможно, репрезентативную выборку не определишь, но: «Горе от ума» Грибоедовское, «Двенадцать стульев»-«Золотой теленок» Ильфа-Петрова, «Мастер и Маргарита» и «Трудно быть богом» – вот верхняя четверка рейтинга. И если взять сегодня – Стругацкие на первом месте.

Умных нам не надобно – надобны верные.

Одних грамотеев режем – других учим.

Там, где торжествует серость – к власти всегда приходят черные.

Как вольно дышится в возрожденном Арканаре!

Грамотей – на кол тебя.

Не понимаю, почему бы одному благородному дону не принять розог от другого благородного дона.

Я достаточно богат, чтобы купить весь Арканар, но меня не интересуют помойки.

Кто тихо сидит и никуда не лезет – тех первыми и режут.

Цитировать подобное можно долго – но есть и просто отточенно-смачные фразы, входящие в память как пазл:

Капля пота, гадко щекоча, сползала по спине дона Руматы.

Барон утолял потерю жидкости в течение получаса и несколько осоловел.

Наша постель – попона боевого коня!

Благородный дон, большого ума мужчина, поразмыслил и сообщил, что простой народ готовится праздновать канун Мики Праведного.

Разнообразие не поощрялось: король изображался двадцатилетним красавцем в латах, а дон Рэба – зрелым мужчиной со значительным лицом.

Ну, в общем, м-м-м... мощные бедра!

Дон Пифа висел над столом и работал как землеройный автомат: костей после него не оставалось.

Третье! Диалоги Руматы с многоученым Будахом и предводителем Аратой. А ведь это, мои дорогие, диалоги платоновской школы. Они обманчиво просты, ясны и кратки. Но это – о самых серьезных проблемах политической философии. Вроде как и школьнику понятно. А потому что мыслят ясно! А ведь это – обо всех и всегда, и что важно: это о нас здесь и сейчас.

И когда Будах объясняет Румате совершенное устройство государства, подобное природной пирамиде (крестьяне-ремесленники-военные-духовенство-король), совершенной геометрической форме, где уже невозможно улучшение, – о боже! это то идеальное устройство государства, которое некуда уже дальше переделывать и совершенствовать, о котором полтора века назад говорил Гегель применительно к государственному устройству Наполеона, – и в самом конце XX века, через тридцать лет после «Трудно быть богом», скажет Фукуяма, предвещая конец истории: демократия и капитализм победили, чего уж лучше может быть, приехали.

И когда Румата – с позиции Бога! то есть Истины! – объясняет Будаху, что невозможно искусственно, со стороны, ускорить человеческий прогресс, ускорить улучшение нравов, ускорить достижение приличной жизни и счастья, – это спор многовековой, и сегодняшней, принципиальной, серьезнее некуда. Нынешние мигранты и либералы, средневековые законы Среднего Востока и разрушительное дикарство постколониальной Африки, столкновения правых и левых взглядов на грани гражданских боев – это тот спор, который предсказали Стругацкие – в 1964 году!!! Вы понимаете?..

Роман этот изучен-переизучен, толкован-перетолкован, но кое-что так и не сказано. А именно:

Вопрос «вмешиваться – не вмешиваться» решается двойственно, это проблема дуалистическая в принципе: теоретически – предоставить своей судьбе, ибо свой путь каждый должен пройти сам, иначе не созреет, не достигнет цели, будет искусственно снабжаться дядями, иждивенец цивилизации; практически – нельзя не вмешаться, не рубить зло, не насаждать добро твердой рукой, не ходить по путям сердца своего, потому что такова сущность и доля человеческая. И потом оказывается, что – против теории – сердце было право. То есть:

Не в правоте правда, а в следовать путями сердца своего, подчиняться искренним порывам души твоей – в этом правота.

Нерасчетливое, но справедливое и нетерпимое к злу сердце человеческое – выше рационального расчета.

Отсюда у Стругацких появятся прогрессоры – просветители-колонизаторы, законспирированные специалисты по имплантированию высшей культуры в отсталые народы. Вмешиваться! карать зло и насаждать ростки добра! – то, что порывался делать еще Саул в «Попытке к бегству», и что станет отдельной и важнейшей профессией мира будущего Стругацких.

И – очень важная, принципиально важнейшая вещь, которую принципиально не желали замечать у Стругацких важные реалисты и серьезные критики; о, любя поминать Бахтина с его карнавальная культурой и прочее. Стругацкие в современной им советской литературе оказались, явились, поставили себя в положение шутов, которые в колпаке с фантастическими бубенчиками говорят правду. Всем! Вслух! Прилюдно! Умную, горькую, порой безнадежную правду... Массовыми тиражами! Да еще издевательски приговаривая свое знаменитое: «Легко и сладостно говорить правду в лицо королю»!

Это шут шекспировского замеса, такой непринужденный мудрец, предсказания его как бы небрежны, ирония горька... Королевская цензура подписала ему пропуск: а, безвреден, фантазирует, что с них взять...

Они были одни такие. Мудрые, талантливые и легкие. Прозрачная сеть фантастики на их книгах – как ленточки маскировочного костюма на снайпере. Думаешь, что холмик травы – а тебе оттуда прилетело.

...Подобные Стругацким рассуждения в реалистическом антураже Тендрякова или Айтматова, скажем, – критики и тусовка писали бы от восторга кипятком: о, как мудр писатель! То есть: не хватало элементарно ума понять коэффициент условности. Снобы вообще глупы и конформисты. Но мы здесь с вам сейчас не снобы...

И вот следующая книга, эпохальная, поразительно провидческая, гениальная: «Хищные вещи века».

Саул в «Попытке к бегству»: необходимо драться с фашизмом в любом облике. Румата в «Трудно быть богом»: драться с фашизмом в любом облике. И вот: фашизм побежден! Последний на Земле фашистский путч давно подавлен! Наступила эпоха мира, покоя и процветания. Ну – каково?..

И вот тут оказывается самое ужасное. Иван Жилин, разведчик и бывший космолетчик, послан узнать: как, почему, что это за сеть действует – что люди погибают неизвестно от чего, неведомым образом, от полного истощения нервной системы. И он попадает в коммунистический рай: для всех всего вдоволь, труд необременителен и недолог, благосостояние наступило, идеальное общество построено. И что?

И они самоуничтожаются, разлагаясь заживо – им нечего больше хотеть! Они развлекаются: экстремальный спорт в виде дурацких игр со смертью, тайные эстетские общества уничтожителей искусства, ежедневный экстатический типа вечера музыки и танцев – одуряющий кайф звука – «дрожка», интеллектуалы-провокаторы, которые ценой терактов и собственной

гибели пытающиеся хоть как-то расшевелить это гниющее людское болото. Всеобщее ожлобление – при всеобщем доступе любых культурных благ.

И Жилин раскапывает секрет: там научились ловить кайф напрямую, типа сильнейшего наркотика, дающего сильнейшее наслаждение – и тогда все прочее становится человеку до фени, он познал высшее блаженство, и наслаждается напрямую, в горячей ванне с ароматическими солями, пока не умрет. И! Да нет никакого специального наркотика! Нет никаких наркодилеров! Это фиговинку может купить любой, открыто, в магазине, она просто используется не по прямому назначению, это кто-то открыл и придумал так ловить кайф!

И Жилин вспоминает, как этот дряхлый обрюзглый наркоман, Буба – его бывший друг, курсант Пек Зенай, вместе с которым, юным, стройным, храбрым, и с другими ребятами из разных стран они дрались с фашистами в той последней схватке одиннадцать лет назад! И были счастливы в этой смертельной, грубой битве, которую не все пережили!..

А сегодня на площади этой благоустроенной страны стоит памятник великому космолетчику – да никто не знает, чем он велик, это памятник сорвавшему банк в электронную рулетку, он сюда однажды заехал и сорвало банк, все!..

...Позднее Стругацкие говорили: «Работая над этой вещью, мы пришли к мысли о невозможности коммунизма...»

1965 год! Еще нет бунтов хиппи 68, нет повальной наркомании, нет массового иждивенчества паразитов развитых стран. Еще нет массовой безграмотности нормальных вроде людей, массовой дегенерации искусства, всевозможных видов эскейпизма. Еще не погрязли в обалдевающем, кретинском потреблении. Еще не делают наркоманы наркотики из лекарств, из садового мака, еще не колют для кайфа глазные капли в мошонку, еще не изобрели прыжки с тарзанкой, пейнтбола, еще нет цепочки иссохших трупов искателей сильных ощущений вдоль тропы на Эверест.

А через три года, в великом 68, они напишут «Второе нашествие марсиан». Где древнегреческими, мифологическими именами героев – в сочетании с их мирными и мелкими обывательскими профессиями и занятиями – подчеркивается вневременность, вечность, эдакая принципиальная философичность происходящего.

Понятно, что это все в пику варианту Уэллса с его борьбой миров. Так вот другой вариант: мирный, спокойный, благополучный. Никто, в общем, этих марсиан прилетевших даже не видел. Такой чисто сценический ход: о марсианах мы узнаем через разговоры и мелкие детали – а вот сказывается их воздействие на всей жизни.

То есть. Ребята. Вы все сохраняете. Ваши дома, семьи, занятия. Никто не ущемлен. Мы заботимся о вашем же благе. Преступность мы ликвидируем, здоровье поощряем. Кстати – вот прекрасный сорт пшеницы, урожайная, питательная. Синяя? – это не важная деталь. А вы сдавайте желудочный сок. Везде появляются передвижные такие донорские пункты по сдаче желудочного сока. А денег за него дают – и работать не надо, жить хорошо можно, лучше, чем раньше.

И благополучная Земля превращается в ферму по производству желудочного сока. Нужного марсианам. И все довольны! Все! Конец истории! Не надо больше революций, теорий, светлого будущего, борьбы за справедливость, прогресса – все уже хорошо! Отлично! Идеально! Все благополучны, это гарантировано – так на кой черт рвать горб и рисковать, изобретая невесть что?!

И только один борец и сопротивленец, интеллигент с оружием, вопрошает безнадежно, яростно: «Почему все спрашивают: что с нами сделают? Почему никто не спрашивает: что мы должны делать?!»

А ведь это – вечный вопрос, обращенный к русской интеллигенции. И шире – вообще к народу. И сейчас, в наше время, когда и свобода слова несравненно шире советской, и возможностей несравненно больше, этот вопрос остается куда как актуальным для подавляющего

большинства населения России, терпеливого, согласного и покорного. О, они хотели бы перемен к лучшему, они их будут приветствовать, – но пусть все сделают другие, которые где-то там, выше нас, у них власть, ум, возможности, они руководители наши, а мы уж что, что мы будем ждать и гадать, и надеяться, и вздыхать: что с нами сделают?..

Привет всем от Аркадия и Бориса Стругацких, из 1968 года, из Советского брежневского Союза!

...Возможно, не все это сейчас понимают, молодежь особенно, но это было все жуткой антисоветчиной. Скрытной, замаскированной, но от того еще более вредоносной. Это была идеологическая диверсия! Чуждое, антимарксистское мировоззрение! Что изобилие – это не будет коммунизм, что лояльность любым властям – это путь к деградации народа, и вообще намеки всегда подозрительны.

Видите ли, Саул-то совершил попытку к бегству не из немецкого концлагеря, а из советского, гулаговского, с Колымы, – это потом пришлось изменить по цензурным соображениям. Это он нашу лагерную систему встретил даже за тысячу световых лет от Земли, это он с ней пытался и призывал бороться, вы поняли?!

А тут еще «Обитаемый остров» с его гипноизлучателями на башнях и оболванием населения ради его же блага – «Неизвестные отцы» бдят и лучше знают, как устроить народу процветание. «Неизвестные отцы», знаете ли, весьма напоминало известный советской интеллигенции оборот, пущенный Би-Би-Си: «Конспиративное Советское правительство». Никто не знал, кто именно и как принимает в Политбюро решения. Ну, знаете, свергнуть Отцов и всю власть народу без телепропаганды – это вы вообще с ума сошли!.. Просто призыв к государственному перевороту! (Вы смеетесь, а бдительные коллеги и редакторы из одиозной тогда «Молодой гвардии» и ряд чиновников так ведь и говорили! Намеками, конечно, потому что таких слов прямо никто не смел произносить ни в каком контексте.)

И, конечно, такой картине антиутопической скверного не нашенского будущего – было необходимо противопоставить картину истинную, советскую, марксистскую, идеологически верную.

И это был светлый коммунистический Мир Полудня, XXII век. Сине ква нон. Потому что без этого нельзя. Это было как поздороваться, как застегнуть штаны, как справка из диспансера о психической нормальности и политической благонадежности.

Дорогие мои. Для того, чтобы в Советском Союзе, даже славных 60-х годов, печататься – нужно было соблюдать условия игры. Не Запад с его вседозволенностью, чай. И редакторы цензуры боятся, все сами норовят подозрительное убрать, и рецензенты о своей шкуре думают, и писательское чиновное начальство свой пост отрабатывает – запах крамолы вынюхивает, чтоб заклеить и изгнать тебя; а уж конкуренты-коллеги – только оступись, схарчат с восторгом, особенно твои идеологические и стилистические враги. Необходимо же иметь площадку для защитной аргументации, противовес: вот, смотрите, мы – коммунары, мы – марксисты, мы – не сомневаемся в победе светлого и героического будущего! Где ваше будущее, товарищи фантасты-очернители? А вот оно, получите!

Н-ну, а дальше срабатывает эффект таланта: что бы ты ни делал, а все равно плохо не получится. Не шедевр, может, – но лучше, чем у других всерьез.

Так что все эти космические экспедиции, строители марсианских баз, исследователи колец Сатурна, самоотверженные первопроходцы, Быков, Дауге и так далее – это все обязательная программа фигурного катания. Доказательство позитивной жизненной позиции. Категорически предписанный образ секретаря парткома с его руководящей партийной ролью.

Ничего нового, разумеется, в этом мире, вымышленном по лекалам идеологического отдела Политбюро ЦК КПСС, нет и быть не может. Что есть этот раздел литературы Стругацких, что нет его и никогда не было – абсолютно один... как бы это сказать вежливо из любви и уважения к авторам... все равно. Там бесконфликтность, коммунизм, освоение просторов Все-

ленной, наукой горят, порядочность абсолютная... Литературно сильно улучшенный и осколочно-фрагментарный Иван Ефремов, вид сбоку. Мысль одна: будущее за коммунизмом по Марксу, а человечество не останется вечно на земле согласно заветам Циолковского. Гм – две мысли, пардон... Но! Кроме клички Атос, дискуссии практиканта-сварщика с барменом-капиталистом и жалкого букетика цветов в большой варежке старика-ветерана – ведь и запомнить нечего!..

А запоминаешь совсем другое:

Если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу – дерьмо.

Я буду писать лицо Искусства, сказал Рэм Квадрига. Это моя задница, пояснила Диана.

Я проникаюсь национальным самосознанием, читая речи Господина Президента, пока меня не начинает рвать – тогда я сажусь за стол и пишу.

Это как демократические выборы – большинство всегда за сволочь.

Будущее создается тобой, но не для тебя.

...Это все из «Гадких лебедей» – единственной вещи Стругацких того периода, которая в 1967 году не была напечатана: почти случайно, просто по разным редакционным причинам, рассказывал мне Борис. А напечатал ее на Западе «Посев» в 1973, без ведома авторов. Это была скорее подстава, чем услуга, и я даже знаю, какой умный, подлый и завистливый человек ее передал, но доказательств не имею, он уже умер, и говорить не имею морального права.

Публикация на Западе неопубликованной в СССР вещи – это был акт предательства, саморазоблачения, это писатель расписывался в своей антисоветской ориентации, чужой своей идеологии, он ставил себя вне советских издательских (а значит и идеологических!) правил и законов. Кто разрешил? Кто одобрил? Кто проверил? Вы что, ставите себя вне наших советских правил, считаете себя выше соответствующих литературно-издательских органов, учреждений и должностных лиц, облеченных доверием?!

А в 73-м году была расхожая писательская шутка: «Я не понимаю – в каком мы году живем: в 73 или в 37?». Это все касалось обычно цензурных требований, исходивших, кстати, от редакторов – цензора писателю в глаза не полагалось видеть, не полагалось знать, что он есть, не полагалось знать слово Главлит – «Главное управление литературы», не полагалось видеть своей рукописи, сдаваемой в производство со штампом сверху первой страницы: «Разрешено к печати = ГЛАВЛИТ» и подпись цензора. А поскольку редактор получал по горбу и выговор от главного редактора за любое замечание цензуры, что пришлось что-то исправлять или вычеркивать из рукописи после редактирования – редактор перестраховывался и заранее вычеркивал все, что могло вызвать подозрение, и еще выкашивал обширную поляну вокруг этого. Выгонят за цензурные претензии – где он работу найдет, никуда не возьмут. Мне однажды указали, что рассказ про паука стоит у меня в сборнике рядом с рассказом про красноармейца – это нехороший намек, надо один из двух рассказов убрать.

Ведьм ловили частым бреднем, вы что...

73-й год – это не только пять лет после Пражской весны. Это год, когда СССР подготовил все, чтобы друзья-арабы, Сирия и Египет, плюс присоединившиеся Ирак и Иордания, уничтожили Израиль. Они напали, произошла Война Судного дня, и кто мог подумать – Израиль уничтожил всю обеспеченную советскими товарищами ПВО, сожгли все танки их превосходивших сил, уничтожили всю авиацию, и разгромил все их доблестные армии; оставались сутки до занятия Дамаска, когда СССР категорически потребовал в ООН мира, под угрозой введения в зону боевых действий своих вооруженных сил. Это болезненное военно-политическое поражение вызвало, естественно, и внутреннюю политическую реакцию в Советском Союзе: всем бдеть и работать лучше! Враг силен и коварен! А КГБ что же, Пятое Главное Управление что же по борьбе с интеллигенцией и инакомыслием, а Идеологический отдел Политбюро как должен усилить работу? Именно 1973–1983 – период максимального глухого мракобесия в послесталинском СССР. Кончились, кончились веселые 60-е, постарели и заткнулись

шестидесятники, кто съехал, у кого пар вышел, кураж кончился, – трудно стало печататься, все жилы выматывали, все здоровье отнимала редакторская машина, очереди в журналах по два-три года, и это если примут рукопись, а это один из трехсот; планы в издательствах – на пять лет вперед сверстаны и утверждены, и по семь лет книги выходили, да-да, ничего, да? не верится сейчас, у генералов от литературы, на зеленый свет – это два года было! И печатать Стругацких практически перестали.

Они публично извинялись, хотя сдержанно и с достоинством, за эту посебовскую публикацию. Выражали претензии в адрес издательства, что без разрешения и даже ведома авторов. Ну – ниоткуда не исключили и оргмер не приняли, это значит очень мягко отнеслись, снисходительно. Но. С этого момента и до смерти Андропова и Черненко, до начала горбачевской эпохи, более десяти лет, Стругацких печатал исключительно журнал «Знание – сила», он был тогда базовой площадкой фантастики, тираж тысяч шестьсот, если не очень путаю. И коллективные сборники «НФ» издательства «Знание». А книги выходить практически перестают.

Они печатают вещь с гениальными прозрениями, и написанную шедеврально: «Миллиард лет до конца света». Природа не хочет, чтобы ее тайны раскрывали, она сопротивляется, она пытается уничтожить людей на пороге великих открытий. Это можно понимать неоднозначно – как во всех их лучших книгах. Вселенная, как живое существо, сопротивляется человеку, его воздействию на нее, его открытиям? Враждебность и закрытость окружающего мира? Или – чем больше ты делаешь – тем больше растет сопротивление окружающей среды, это закон природный? Или: результат человеческого прогресса катастрофичен для Природы, вот она и старается самосохраниться, защититься? Или: большинство людей сознательно отказываются в жизни от самого главного, на что могли быть способны – ради бытовых удобств, спокойной нормальной жизни, семьи – потому что делать большие дела, менять что-то в познании и судьбах мира – смертельно опасно? И: только ценой собственной жизни, если принял условие, решился – готов самой жизнью пожертвовать ради открытия, великого свершения – только так и могут делаться большие, настоящие дела, вехи в прогрессе, оставляющие имя человека в истории для славы и потомков?

Еще был «Жук в муравейнике»: у каждого человека есть своя жизненная программа, встроена от рождения. И когда приходит время – он, сам не зная почему, стремится эту программу, неведом кем и для чего вложенную, реализовать. Но поскольку не мы создали человека – мы и не можем знать, что из этого выйдет. И из благих побуждений – как бы чего не вышло! – норювим эту программу, высую, надчеловеческую, непонятную нам по своей сути – пресечь. Даже ценой жизни этого человека, убить его, абы чего не вышло. Мы не вольны знать наше предназначение, мы не вольны постичь, почему мы подчиняемся тяге исполнить его, нам неведом результат нашего предназначения... и тогда – это трагедия, но лучше убить такого человека. Желającego неведом чего, непостижимого нам!

И вот здесь, почти через двадцать лет, с трагедией и пессимизмом колыцуеться программа, заданная в начале пути «Попыткой к бегству». Вспомните! Там – «люди, которые хотели странного» – тягчайшие государственные преступники, уничтожаемые в концлагерях феодального тоталитаризма. Сломать этот мир, уничтожить охранников, вот ведь что хотели наши друзья-земляне, они понимали, что «хотевшие странного» – свет мира, надежда, открыватели новых миров, путь к лучшему будущему! И вот прогрессор Лев Абалкин хочет странного – и Экселенц убивает его, пресекая непредсказуемые последствия.

К концу семидесятых они стали пессимистами, Стругацкие. И добра большого от будущего не ждали. Врожденное жизнелюбие, когда жизнь есть радость сама по себе, сменилось таким мудрым, печальным, гордым стоицизмом. Да уж в это время оптимиста было поискать, не располагала эпоха, укатали сивок крутые горки, всех серыми подушками передушили, Аксенов уехал, Высоцкий и Трифонов умерли: всем заткнуться, принять вправо и молчать! Себя я чувствовал белой вороной на величественном пепелище. М-да, честно, зато правда.

А помните, как они веселились в «Понедельнике начинается в субботу»? Модель человека, убогатворенного желудочно. М-нэ-у, младший, естественно, дурак, но кто же первые два?.. Какой я вам простой человек, я простой бывший великий инквизитор!

А как сложен и сложен (простите нечаянный каламбур) контрапункт в «Улитке на склоне», где два категорически разных слоя, но равной степени бессмысленной кафкианской целесообразности без цели, и равной степени остранинности, хоть эти две остранинности лежат в разных измерениях – как две эти параллельные прямые вдруг диффузируют одна в другую, проникают своим тоном и светом одна в другую – и рождается нечто совершенно третье: бессмысленное, обреченное, но через ежедневное не усилие даже, а намерение к усилию – через это брезжит надежда, надежда выхода из этого шизофренического, в сущности, мира. Мой путь земной пройдя до половины, я заблудился в сумрачном лесу. А где Вергилий – мы заблудились?! Со всеми кругами дантовского ада – вот с чем мы имеем дело. Но! Тихо, тихо ползи, улитка, по склону Фудзи вверх, до самых высот...

...Мы еще ничего не сказали о люденах, сверхлюдях, покидающих мир наш, мир людей, и родных, и всех вообще. Здесь тоже более метафоры – мудрецы невольно и автоматически чужды людям, понимают и знают сильно много, мир видят иначе, словно в другом мире живут. Так в монастыри уходили просветленные и посвятившие себя Высшему, так делать большую карьеру навсегда уезжали из провинций в Париж, дети всегда покидали родительский дом и уезжали далеко и навсегда, обычное дело. А насчет их сверхспособностей – тут насчет разума как такового совершенно отдельный разговор, тут уже без энергоэволюционизма не обойтись, уж простите. (Правда, без него вообще не обойтись.)

Были еще «Град обреченный», были еще «Жиды города Питера», талант не пропьешь, писали они по-прежнему блестяще и легко, были мудры и печальны, лукавства все меньше, усталости все больше, обычное дело.

Могил они не хотели, прах развеян над планетой, над землей.

Понимаете, среди многих достоинств их книг есть главные, самые главные. Во-первых, от них остается в голове и в сердце. Это не игра в бисер, не литературные экзерсисы, не пустые миражи постмодернизма – это настоящие книги с твердой основой. Их читают – и делаются умнее, и делаются лучше – хоть на то время, что читают, хоть чуть-чуть, ну хоть прикасаются к знанию о том, как жить и как понимать жизнь, хоть представление получают о нравственных координатах человеческого мира, о мыслях его вечных и главных. Пусть читатель дураком остался – а хоть о чем-то представление получил. Вот банальность, и однако: да, они сеяли разумное, доброе, вечное. Легко и без занудства.

И второе. Книги хорошо помнятся – и все равно их хочется перечитывать, уже известное наизусть – все равно хочется, приятно перечитывать, удовольствие доставляет. «Я при дворе, не барон какой-нибудь вшивый. Придворный благоухать должен. – Только его величеству и дела, что вас нюхать». «Безденежные доны обидно захохотали». «Я тебе покажу собаку, глупый болтливый старик, – сказал Щекн».

И было в них еще это щегольство, высший шик профессионала: абсолютно никакой атрибутики, абсолютно ничем внешне они никак не были похожи на гениальных писателей, и вообще на писателей, знаменитых, – ни одеждой, ни манерами, ни разговором. Люди как люди, скромные и не вылезавшие никогда вперед, можно было бы сказать – неприметные внешне, если бы не рост, не размеры, и если еще в глаза не смотреть – вот глаза хитрые, улыбчивые, добрые, ехидные, печальные и упрямые абсолютно, очень скептические, и бесконечно умные, мудрую натуру скрыть не могли.

И очень часто, глядя по сторонам, что делается, я ну совершенно же невольно не вспоминаю даже – само просто всплывает, звучит, на язык лезет: «Ну и деревня. Сроду я не видал таких деревень. Гнили они здесь тысячу лет, и еще бы тысячу лет гнили, если бы не господин герцог».

Огонь и агония

Литература семидесятых – довольно горестное явление. Вот из помещения начинают выкачивать воздух – и одни медленно задыхаются, другие успевают улизнуть в щели, а пространство начинают занимать третьи, которые умеют обходиться минимумом воздуха или вообще дышать дрянью, для дыхания не предназначенной. Но от неправильных пчел даже не требуют неправильного меда: жужжат – и то пусть заткнутся.

А потом проходит сорок лет, и пятьдесят, сменяется государство, сменяются поколения, и вдруг все представляют не так, как было. История мифологизируется. Историки устраивают прошлое в соответствии со своими взглядами. У них очки навешаны на все места, и все места не те, как у крыловской мартышки. А очевидцы выживают из ума и все врут: у них ностальгия, и старые обиды, и идеализация своей молодости, и альцгеймер.

Вы готовы? Поехали.

Все начинается не сразу. Все готовится и созревает исподволь, заранее, постепенно.

В июне 1967 произошла Шестидневная война между Израилем и арабами. Наш друг, Герой Советского Союза Гамаль Абдель на всех Насер (как шутили в народе) совсем было изготовился придушить и уничтожить сионистский Израиль, но вышло наоборот: Объединенная Арабская Республика, то бишь Египет с Сирией, ну Иордания еще, Ирак и Алжир тоже впряглись – и всем им Израиль вломил. А там были советские советники, специалисты, оружие – и вдруг такой разгром. Арабам очень обидно. Ну – СССР разорвал от такого оскорбления дипломатические отношения с Израилем.

Мы почему с этого начали? Потому что с этого начали закручивать гайки по всему периметру. Состоялись совещания ЦК (КПСС) и КГБ. Были приняты решения об усилении идеологической борьбы. О пресечении распространения анекдотов – армянского радио и т. п. Потому что в народе Насера у нас не любили, а победа Израиля вдруг вызвала кое-где, – у интеллигенции преимущественно, понятно, – неуместные симпатии, идеологически чуждые настроения. Арабов не уважали – так стали израильтянам за эффектную и полную победу симпатизировать – а это враждебно линии государства, это оппозиционные настроения, шутите, что ли! Евреи особенно радовались, паразиты.

И с 67-го года началась официальная политика государственного антисемитизма (негласная, конечно). Заработали «три не»: не увольнять, не принимать, не повышать – «лиц еврейской национальности», как это именовалось в Советском Союзе. О национальности задниц всех народов не говорилось.

А евреи – что пардон, то пардон – народ книги. Люди повышенной энергетики. Лезут куда ни попадя. И в частности в советскую литературу. Под псевдонимами и откровенно. Раз уж в руководство всех родов им еще в конце сталинской эпохи ходы перекрыли, исключения очень редки были.

Это все мы к тому говорим, что антисемитизм сам по себе – это аспект и показатель реакции. Неблагополучных процессов в обществе. То есть – жди по всем фронтам нападений.

И фронт нападений грянул в 1968 – Пражская весна. Вот тут уже все было совсем серьезно. Евтушенко писал: «Танки идут по Праге – танки идут по правде». Нет, это не печатали, конечно. Они с Аксеновым пили и плакали. В столичной интеллигенции была паника и уныние. А народ – народ верил! Что мы спасли братских чехов от бундесвера и НАТО.

И стали глушить «вражьи голоса», все эти БиБиСи и «Свободы». В радио – только треск и хрип: по всей стране глушилки в городах! (А вот за городом ловилось – так только летом по воскресеньям ведь выбирались.)

Вот тогда усилили цензуру – Главлит это ведомство при советской власти называлось – «Главное управление по делам литературы». КГБ, естественно, этим занимался.

А предварительный просмотр рукописей и контроль за лояльностью текстов доверили редакторам. Наказание за промах – выговор, увольнение, увольнение с волчьим билетом, без права на подобную должность. И редакторы – за ту же зарплату редакторскую! – потели и бдели! И вычеркивали все, что могло хоть отдаленно навести на ненужные размышления.

Запахло керосином, и в этом запахе керосина народ стал валить. Анатолий Кузнецов, «Бабий Яр», редколлегия «Юности», доверили ему командировку в Лондон – работать в архивах для сбора материалов для романа о Ленине. Так он там остался, попросил политического убежища, предатель, гад! Ну – «Юность» перетряхнули.

Идеологическую работу – приказано усилить! А тут ведь – 1970 апрель грядет – 100-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Все деятели советского искусства вносят вклад в создание всенародной Ленинианы. Самолет летит – привет Ильичу! Книги пишут, роли в кино играют, Смоктуновский – Ленин, и Лавров – Ленин, и черт в ступе – тоже Ленин! Про Крупскую мы вообще молчим.

А инициативы правительства в России всегда были особенно прекрасны исполнением, каким оно выползло из недр могучей бюрократической машины. Машина аж тужилась, и народ стал издеваться над всем святым: родился цикл анекдотов, этого живого фольклорного жанра, весьма точно отражающего неформальные народные настроения. В Петергофе открылся фонтан «Струя Ильича». Мебельная фабрика наладила выпуск трехспальных кроватей «Ленин с нами». Парфюмерная – духи «Запах Ильича». Обувная – калоши «По ленинским местам». И так далее. Вы смеетесь – а ведь действительно были мужские носки с портретом Ленина, вареная колбаса, где на срезе салом была надпись «100», и прочий бред. А уж телевизор пел комсомольскими баритонами: «Ленин – всегда живой!», «И Ленин – такой молодой!», хоть святых выноси, утюг включить страшно.

То есть на идеологию налегали так, будто слона совокупили с мартышкой, она аж лопается, пардон, конечно, но народ матерился и издевался сильно.

А молодежь! Воспитать! В том числе книгой! Где идеологически верные книги для молодежи? На издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» ставят проверенного и верного комсомольца, члена КПСС, конечно, профессионального функционера и воспитателя молодых товарища Ганичева (злые языки мгновенно говорят, что за половые заслуги, у него не только рубашки голубые, зато идеология патриотическая). И голубой изнутри и красный снаружи товарищ Ганичев развивает деятельность и закладывает серию книг «Пламенные революционеры» – «ПР». Нет, закладывает не как врага народа органам, а закладывает как новый корабль на стапеле. И определяет тираж двойной массовый – то есть это тогда так считалось 200 000 экземпляров. И соответствующий гонорар – сейчас вас преysкурантом тем утомлять не буду (я?.. я-то помню), но за книжку средне-небольшого формата давали приличным письменникам двенадцать-пятнадцать тысяч рублей. При средней зарплате по стране тогда реальной где-то 130 в месяц. Грубо – зарплата лет за десять-пятнадцать. А навалить можно за пару месяцев, кто руку поставил.

За этот жирный кусок образовалось братоубийство дружелюбных литераторов, но вперед звали маститых и искренне читателем любимых, хороших писателей вперед звали, которых именно молодой интеллигентный читатель любил – главный адресат всех потуг 5-го Главного управления КГБ – который по борьбе с интеллигенцией. И вот – серия «Пламенные революционеры» – пошла:

Анатолий Гладилин. «Евангелие от Робеспьера». Книга блестящая! В то время она мне мозги перевернула. Французские революционеры – убежденные, идейные, благородные, образованные, за свободу, равенство и братство. Все друг друга на гильотину отправили! Все! И на смену им пришла обывательская серость, сберегающая свою жизнь и набивающая свой карман. Гравюры там были прекрасные, и на последней – трехцветное знамя развевается (черно-белые гравюры, ясно), и каждая полоса – из множества людских фигурок, и за древко держится

гордая устремленная фигура в лосинах и треуголке – молодой Наполеон. Это он пришел на смену. А предпоследняя гравюра – портреты вокруг гильотины: «Герои и жертвы Французской революции» – все, кто ее делал и вел! Вот эта горькая обреченность революции вообще – это било и печалило. Мы-то как раз вступали в мрачное N-летие.

Василий Аксенов! «Любовь к электричеству». Про Красина – инженера, организатора, будущего дипломата и наркома. Типа прекрасные люди в революции были, умные, деловые, верили в светлое будущее.

Булат Окуджава! «Глоток свободы» – чуть раньше он назывался «Бедный Авросимов». Пестель, Южное общество, петербургские офицеры, долг, честь, аресты, гордость. Чудесно стилизованная проза, изысканная, читать приятно, народ млел.

Ну и ни хрена им это ни одному в судьбе не помогло. Народ с восторгом и вздохом читал любимых писателей, говоря: конечно, печататься надо, про революцию, заказ, но что же делать, все равно какие хорошие книги, главное – честные при этом, там ведь лжи нет, просто многое умолчано, но без этого нельзя, а как же еще жить в наше время. А писатели тогда думали, был такой трафарет представлений: ты напишешь заказную книгу для партии – а тебе потом разрешат написать хорошую книгу, от идеологии свободную. Да – вот такие мы были дураки! Не садись обедать с дьяволом – у него всегда ложка длиннее! Хотя партийно-писательские боссы уговаривали: да-да, вы напишите это для пользы государства, а потом мы вам и вот то тоже издадим. Потом догоним и еще издадим.

Вскоре серия испаскудилась, выполняла партийную разнарядку, пропагандировала тьму революционеров от Маркса до лошади Буденного, но больше ее никто уже не читал. Издевались над биографиями героев, гады; анекдоты рассказывали про Чапаева и пламенную Крупскую даже.

И вот в том великом юбилейном 1970 году – Нобелевскую премию по литературе дали литературному власовцу Александру Солженицыну! Это была, конечно, идеологическая диверсия, специально чтобы плюнуть в лицо первой в мире стране социализма. О Солженицыне у нас запретили упоминать. Ему сказали: поедешь за премией – обратно не пустим. Он сказал: тогда не поеду, русскому писателю родина важнее. И остался на родине, гад!

Так что когда в 1972 Бродского вызвали в ОВИР и сказали: помните, вы хотели уехать? так или давайте сейчас, или в психушку попасть можно; он и свалил; это было вполне в стиле времени.

В 1974 арестовали наконец и обвинили в измене Родине Солженицына, лишили гражданства и выслали из страны. «Самолет вверху гудит, Солженицын в нем сидит. Вот те нате, хрен в томате, Белль у трапа говорит» – это частушку сложили, Белль Солженицына действительно встречал в аэропорту, он был председателем Международного ПЕН-клуба, к дополнительной ненависти советских властей.

И Виктор Некрасов уехал в 1974, родоначальник советской прозы о Великой Отечественной войне, а книги его запрещались и изымались где-то года с 1971.

По миграции знаковых фигур всегда можно судить о процессе. Это такие самые наглядные примеры. А ненаглядные были более скрытые, постепенные, массовые.

А Шукшин Василий Макарович, тот в 1974 просто умер. И можно говорить о язве, водке, стрессе, усталости, – но, когда разные причины у разных людей дают в итоге прямую линию аналогичных следствий – это уже закономерный процесс. А процесс заключался в том, что советская литература – русская советская литература – редела, пустела и оставалась без своих талантов, без своих столпов, без гордости своей!

Идеологической работе с населением придавалось все большее значение. Это значит – и с писателями тщательнее работать. Это значит – в первую очередь литературную молодежь конкретно воспитывать в правильном духе, смену нашу литературную, завтрашний день наших инженеров человеческих душ. И! – была создана Комиссия по работе с молодыми писателями.

При Союзе писателей СССР. И такие комиссии образовали при республиканских и многих областных писательских организациях.

Молодые были сначала до 25 лет, потом до 30, потом до 35, а драматурги молодые – до 40. То есть. Их вели 15 лет. А потом сливали в отстой. Все писатели это называли «Комиссия по борьбе с молодыми авторами».

Но! Были Областные конференции молодых авторов. И Краевые были, и Республиканские. А вершина карьеры «молодого автора» – участие во Всесоюзном совещании молодых писателей. Эти конференции и совещания выдавали особо отмеченным молодым талантам рекомендации для публикаций и изданий книг. Потом этими рекомендациями можно было подтереться.

То есть. Литературный лифт был пущен по отдельной, параллельной шахте: там тоже были таблички на этажах, но кроме табличек и нарисованных на бетонной стене дверей больше ничего не было. А с самого верхнего этажа шла сточная труба в канаву. Вот такое ложное русло, такая ловушка для безмозглой рыбы, плывущей по течению и заплывающей в тупик.

Все движение по работе с молодыми авторами, все эти конференции – это была весьма важная, заметная часть литературного процесса 1970-х. Вот потому только мы о ней говорим. При этом – руководителями таких комиссий и конференций были старые дуремары из бездарных литературных чиновников, бездарных письменников-неудачников, которые таким образом повышали свою значимость, чем-то себя занимали – и заодно прирабатывали, там за все деньги платили. (Исключения были единичны).

Раз в год выпускались литературные альманахи типа «Молодой Ленинград». Там печаталась в отрывках и стихах отобранная фигня, перед тем как навсегда кануть в Лету. Редко-редко что хорошее прорывалось.

Вот почему, кроме отъезжантов, я вспоминаю о работе с молодыми. Потому что жизнь, рост, реализация литературной молодежи – это тоже важнейший, первейший показатель состояния литературы: как обстоят дела, как дышится, чего ждать.

Понимаете, звезды 60-х – звездное поколение Евтушенко-Вознесенского-Аксенова-Гладилина – как-то резко слиняло, поблекло, оказалось не у кассы, отодвинуто и задвинуто, мало видно и мало слышно. Они уже редко печатались, не производили шума, воспринимались как гении вчерашнего дня. Их цветение и кипение с началом семидесятых прекратилось, они перестали быть властителями дум и главным предметом литературных споров.

А кто вышел на авансцену? Кроме уродов, обслуживающих заказы Партии, так от них и фамилии сейчас не вспомнишь, и тогда их знать никто не хотел.

Это Владимир Маканин. Он восходил долго, медленно, постепенно; он неплохо издавался, нравился узкому кругу интеллектуалов, не был замечаем официальной критикой, не был ею понят совершенно.

Маканин-то кончал матмех МГУ, он рождения с 1937 года – поколение, которое последним успело прицепиться хоть к «колбасе» трамвайной оттепельных свобод и льгот. И судьба его литературная, писательская эволюция, очень интересна и показательна. Тем более что до сих пор никем не понята и не описана толком. Обидно. Но бывает.

Литературным кумиром этого поколения однозначно был Хемингуэй (это кроме как у деревенщиков, разумеется). Короткая фраза, лапидарный стиль, минимум деталей, никаких красот, ноль пафоса, скупость эмоций – и абсолютная, голая, простая честность.

И вот Маканин пишет повесть «Прямая линия». Она вроде и молодежная, вроде и производственная, вторично то есть, это уже выработано – но: новая эстетика. Абсолютно голая, отшелушенная фраза. Ноль деталей и подробностей. Ноль переживаний и чуйств.

Аналогично «Старые книги». То же самое эстетически – плюс капля иронии, плюс отдельные крапинки деталей в стилистике еще Мериме: «Глазки серые. Славненькие глазки». Вот и весь портрет.

И вот от этого абсолютно голого ноль-стиля, где фразы – один скелет, ни грамма мяса, – Маканин переходит к рассказам с сюжетом-кульбитом. Где деталей уже чуть больше, где картину уже видно.

Главные его рассказы очень хороши, и заслуживают того, чтобы мы их упомянули, перечислили. Это:

«Дашенька». «Наша старушка хорошо декламирует». «Ключарев и Алимущкин». «Река с быстрым течением». «Отдушина». «Гражданин убегающий». «Антилидер». Еще десяток есть блестящих.

Все они построены на парадоксе, на двойственности происходящего, на переходе смысла в обратный. «Дашенька»: бедная невзрачная машинисточка и красавец-физик, завидный парень, герой нашего времени – и вот сначала она робко о нем мечтает, угождает всячески, старается стать полезной всеми путями – и в конце подчиняет себе, поработает, ставит под каблук и снисходительно вершит свою судьбу, где отводит ему место по своему усмотрению.

«Ключарев и Алимущкин» – это словно одна доля удачи и жизни на двоих. Никто и них ни в чем не виноват – но чем лучше идут дела у одного, тем хуже у другого: словно все мы своей удачей обрекаем на лишения того, кому удачи из-за нас уже не достанется в жизни.

«Река с быстрым течением»: вот как относиться к любимой жене, когда вдруг узнал, что она тебе изменяет – и одновременно узнал, что она смертельно больна, и недолго ей осталось, и помочь нельзя. И вот разглядывает он ночью на кухне тринадцать всего фотографий, где она в разные годы, и словно это река жизни ее уносит, и куда мы уходим, и как же все так.

То есть. Мы берем мысль, явление, тенденцию. И доводим до абсурда. И видим тогда, что все так – а одновременно и не так. И жизнь наша неоднозначна и превращается в загадку без отгадки, и относишься ты к ней неоднозначно, и смысл всего происходящего – таков, а одновременно и обратен, двусмысленный он смысл, диалектический, непостижимый, не спрямляемый в прямую линию, не поддающийся однозначному ответу.

Время было трудное, Маканин окончил Высшие сценарные курсы при ВГИКе и устроился редактором в издательство «Советский писатель». Это было очень престижное издательство. Главное по современной советской литературе. Пафоснее только «Художественная литература» была. А уж «Молодая гвардия» весьма массовая и с замаранной репутацией, или «Московский рабочий» – это менее престижно. А «СовПис» – это же было главное именно писательское, это связи, это польза и выгода! Господа, ничего стыдного, работа есть работа, а время было очень жестко вот именно такое. Ну, непрогнозируемый, но подразумеваемый обмен услугами; потому что человек не только хороший, но еще и полезный. Типа: я печатаю тебя или твоего протеже – но, соответственно, я могу предложить книгу в издательство, где власть, ну или возможности, есть у тебя.

Поэтому у Маканина в то труднейшее для издания время каждый год выходила книга, тиражом обычно 100 000; тираж-то еще ладно, но факт такой ежегодности был в 70-е годы огромной редкостью, исключением. И тем не менее критика его не замечала и не понимала.

И только когда в 1982 журнал «Север» – первая публикация Маканина в толстом журнале, хоть и не столичном московско-ленинградском, но тоже заметном – напечатал роман (или длинную повесть) «Предтеча» – о старике-экстрасенсе, народном целителе и природном философе-праведнике – это был сюжет прямой, сентенции высказывались напрямую, понимать было просто, а толстый журнал – это знак качества, – и вот критика обратила на Маканина внимание, вполне в положительном смысле.

Чуть позднее в «Новом мире» появится вершина маканинская – «Где сходилось небо с холмами» (родное название «Аварийный поселок»): в поселке все поют, и музыкальный парень едет в Москву, поступает в консерваторию, становится знаменитым композитором – использует в основе своей музыки народные мелодии родного поселка, – и по мере создания и славы его музыки поселок горит все чаще, безлюднее, петь в нем перестают, и вот словно вся его

песенность и музыкальность от земли и народа – перешли в признанную, официальную, именную музыку композитора. Не то народ исчезнувшего поселка оставил себя в музыке родного композитора – не то композитор своей музыкой высосал всю жизнь из поселка?.. Гениальный рассказ (или повесть). И так правильно – и эдак правильно – и еще как-нибудь правильно.

Владимир Семенович Маканин был единственный в советской литературе писатель, чья логика – не однолинейная формальная европейская логика – но логика диалектическая, многозначная, она же полисемантическая; смыслы слоеные, противоречивые, и в этом единстве и борьбе противоречий, которому учил великий Гераклит, и заключается удивительное, уникальное богатство смыслов, которые отражаются друг в друге, как зеркала напротив одно другого, как вложенные и вращающиеся внутри друг друга резные китайские шары.

О его произведениях девяностых-двухтысячных годов мы говорить не будем: во-первых, это за границами нашего периода, который нам конкретно интересен; во-вторых, это очень слабо, Маканин попытался вписаться в новое время, давно став немолодым столичным писателем внутри Садового кольца, реалий не представлял, и ничего, конечно, не получилось; это вызывает неловкость и жалость.

А в 70-е годы Владимир Маканин был лучшим в литературе, что дал этот период, был новым словом, оригинальным, сам свое создал и разработал, был уникальным писателем со своим доворотом, своей особенностью; низкий поклон.

Н-ну, а другая знаковая величина, его гораздо шире знали, и любили, ценили, уважали, почитали – это Юрий Трифонов. О нем столько сказано разного хорошего и умного, что даже добавить трудно. Я попытаюсь к тому, что вы и так легко представите, добавить еще хоть что-то.

Трифонов ведь Юрий Валентинович родился еще в 1925 году. Он шестидесятников постарше будет на 7–9 лет. В 1950 он, студент Литературного института, пишет в качестве диплома повесть «Студенты»: соцреализм, публикация в «Новом мире», Сталинская премия 3-й степени. Триумф молодого советского автора! А потом оттепель, потом 60-е, и Трифонов проваливается сквозь это время куда-то в нети. По совету Твардовского он пишет рассказы и очерки (вполне фиговые), в 1963 публикует много раз переделанное «Утоление жажды» – производственный роман о строительстве канала в советской Туркмении. Кому это надо?..

И вот когда шестидесятники выдавливаются со сцены – Трифонов вдруг оказывается в первом ряду. С точки зрения сугубо литературной, с точки зрения формы произведения, стиля, языка, фразы, средств изображения – он никто. Понимаете, талант – это энергия, принимающая форму творческой энергии. Если бы у Трифонова была энергия вообще и творческая в частности – он бы в 60-е воспрял, распрямился, писал свободно и интересно. Но – в 60-е ему вообще оказалось нечего делать. А в 70-е – этот, с формально-литературной точки зрения не более чем среднеприличный профессионал – оказался властителем дум! Как говорили давыдовские гусары – на бесптичье и коза шансонетка.

Но. Он уже неважно себя чувствовал. И халтурить не хотел. Как умел, насколько понимал – старался писать честно. А человек был неглупый, опытный, знающий. А это очень было востребовано – честно и умно, уже много значит, уже есть что ценить и за что любить.

Сначала о недостатках трифоновских повестей 70-х годов. Трифонов вял, уныл, монотонен, депрессивен, однообразен. Ничего хорошего никого из его героев не ждет. Есть в человеке что-то приличное – жизнь его ломает, или самое дорогое отберет, и вообще ему трудновато и грустновато живется. Делает карьеру – становится подлецом. Любит – жертвует ради выгоды. Его засосал быт, карьерка, квартира, семья.

Такое ощущение – вот потом проверьте, опровергните меня, буду благодарен, мне приятно будет – что у Трифонова никогда не светит яркое солнце, люди не смеются радостно, никто не счастлив и не свободен, никто никогда не получает то, чего хотел. Жизнь – говно. Потому что устроено так, и люди устроены так – а подразумевается, что это наша жизнь устро-

ена так, и наши люди несчастливы, и наша страна тягостное говно! Наше время – безвременье, цвет – серый, тональность – минор, прогноз – неблагоприятный, любовь – несчастная, характер – слабый, натура – подлая, друзья – предадут, семья – по расчету, жизнь – несправедлива, перспектива – какие у нас на хрен перспективы!!! Вот в чем секрет его успеха! Славы! Доверия и благодарности!

Дорогие! Мы жили в 70-е в мире швейкизма, как сами называли. Начальники говорили, люди поддакивали, и никто не верил! Чушь слушали, несли, кивали и повторяли. Никто уже не верил ни в коммунизм, ни в светлое будущее, ни в руководящую роль Партии, которая ум, честь и совесть нашей эпохи. Все решали связи, родство, знакомство, взятки, корпоративная солидарность, готовность соглашаться со всем, исполнять любую чушь, исправно посещать политинформации и торжественные (молодые не поняли? это торжественные собрания по случаю событий и дат – они назывались просто «торжественное» без существительного, вроде «заливное» или «горячее»).

И людям так хотелось правды – серой унылой правды в противовес наглой розовой лжи, – что Трифонов стал живым классиком. Вот уж кто был востребован своим временем!

Да перечитайте вы сейчас «Долгое прощание», «Обмен» или самый знаменитый «Дом на набережной». Занудные ниспадающие унылые интонации длинных фраз в длинных текучих и перетекающих периодах. Длинное монотонное повествование «колбасой», без акцентов и пауз, мажора и минора, без юмора и прямого трагизма – серая глиняная тягостность жизненного повествования, где вязнут и вянут мозги и чувства.

Но вы знаете? – это вполне в духе русской классики. Это в русле, тренде, традиции, обычае, считайте как хотите, знаменитой сентенции, уважительно повторяемой идиотами: «Классика должна быть скучноватой». А как же! А гений – чтоб руки не тем концом воткнуты, а романтически влюбленный – импотент, а простой крестьянин – лучше понимает смысл жизни, а будешь прилежно учиться – добьешься всего в жизни. Тупость, повторяемая авторитетами, добывается статуса истины, слишком высокой для непосвященных. Ага. А дурак – это тот, кто считает себя умнее меня, сказал Ежи Лец.

И! Недаром именно Юрий Трифонов стал главным среди всех писателей выразителем дум и чувств советской городской интеллигенции. Яка держава – такой и классик. Жизнь была глухая и серая – а литература это отражала.

Так что Юрию Валентиновичу низкий поклон за все, что он написал, а люди благодарно читали. Он выразил эпоху. Такие дела.

Вот около середины 70-х, точнее сейчас не помню, «Новый мир» всеми читаемый в очередь, шлепнул повесть Натальи Баранской «Неделя как неделя». Запоминалась она на всю жизнь! Потому что была точная жизнь! Именно и точно так жили миллионы и десятки миллионов счастливых и благополучных молодых семей: и муж хороший, и двое детей чудесные и здоровые, и у самой работа нормальная, и зарплата их двоих на нормальную советскую жизнь хватает как у всех – и продохнуть же некогда! Как белка в колесе, как загнанная лошадь! Падаешь в кровать без сил, утром в темноте звонит проклятый будильник, накормить, постирать, бежать за автобусом, работать, господи, на любовь уже сил нет, а ведь все хорошо у них, и она падает в постель без сил, засыпая на лету, и только думает, что крючок на юбке, как неделю назад, так и не пришит. Занавес.

Чтоб я знал, кто такая эта Наталья Баранская. Смотрите в Интернете, кто хочет, я так всегда и забываю. Но! Она стала знаменитой мгновенно! В библиотеках и всяких проектных институтах читательские конференции проводились по этой повести.

И вот кто хочет себе в точности представить жизнь тридцатилетних интеллигентов в Советском Союзе 70-х – читайте эту вещь обязательно. Редкостный документ эпохи.

Еще был, конечно, самиздат. Но в масштабах очень ограниченных. Москва, Петербург, уже даже республиканские столицы – меньше, не говоря об областных.

Машинописные копии ходили. Впервые Бродского я читал в не совсем слепых копиях, «Пилигримы», «Стансы», «Памятник Пушкину», еще в 60-е, так они и ходили, и «Гадкие лебеди» Стругацких в машинописи ходили, еще разное; как пел Галич «“Эрика” берет четыре копии – вот и все, но этого достаточно». Да, Александр Галич тоже свалил, это было в 1974, вскоре после высылки Солженицына.

Но я еще хотел сказать насчет копий: когда в 70-х появились светокопировальные автоматы, «Ксероксы», – множительная техника, как и типографии, были под строгой охраной. Специальные помещения, решетки на окнах, железные двери, печатались на ночь и на выходные, ответственное лицо, левая работа – уголовное преступление, но как политическое: размножаешь печатную продукцию, на что не имеешь разрешения соответствующего органа. Найдут копию – определяют по отпечатку аппарат – сядут все причастные. Незаконная печать. Но пишущие машинки ходили и продавались свободно – а то тут некоторые сравнительно молодые уже ввали, что в СССР все пишущие машинки были на учете в КГБ. Не создавайте нам новых трудностей, нам и своих хватало.

Ходили огромные машинописные фолианты антологий авторской песни. Но это не возбранялось.

А вот за «тамиздат» можно было сесть на раз, это конечно.

«Архипелаг ГУЛАГ» мне дали на сутки. За него можно было отдохнуть пару лет даже за чтение: кто дал? где взял? кто провез? и так далее. За «1984» Оруэлла, за мемуары генерала Краснова можно было залететь. За статьи Горького 1918 года давали по балде; вот к «Лолите» снисходительно относились, это лучше было забрать себе без шума.

Но вообще время было с точки зрения репрессий вегетарианское. Нужно было производить реальный шум, как-то активничать, чтобы тебя посадили. А так – вызывали, беседовали, пугали сурово, но в мягкой форме.

Андеграунд стал характернейшим явлением свободной литературы 70-х. Работа в стол, божественная жизнь, тусовки.

В 60-е слова «андеграунд» еще не существовало. Пишущие люди делились на тех, кто печатался, и тех, кому это не удавалось: не всегда таланта мало – иногда запрет суров или просто редакторы тупые. Бродский и Шаламов, которые не печатались – это не андеграунд. Просто одному не повезло залететь под кампанию борьбы с туеядцами, а у второго была тема «непроходная», как это называлось, – жуткая простая правда про лагерь.

Но после 1968 заборы стали выше, проходы уже, а вахтеры строже. А при этом – что важно! – литературный пирог стал скукоживаться, как шагреновая кожа советского литературного золотого осла. Бюрократизм всех советских процессов рос – рос он и в литературном, издательском деле – и вот уже достиг успехов небывалых! Писатель – маститый! – приносит в издательство книгу. Ее с ходу отдадут на рецензию – без этого нельзя – и через два-три месяца – быстрее уже нельзя – говорят: принимаем, дорогой! И ставим в план! И выйдет она у вас со всей возможной скоростью: через два года. Два года!! И это – у литературного генерала. Это – зеленый свет. Режим максимального благоприятствования. Ибо у издательства – планы сверстаны и представлены на пятилетку. Еще раз: планы сверстаны на пять лет вперед. А утверждены вышестоящими инстанциями и соответственно скоординированы с типографиями – на два года вперед. Так-то!

А у нормального писателя в РСФСР принятая книга выходила через четыре-пять лет – и это было хорошо и нормально. А выходили и по семь, и этому тоже никто не удивлялся. А планы координировались каждый квартал и каждый год. И обязательно кто-то вылетал, потому что верстались они с некоторым запасом, с резервом: мало ли что, пусть будет, а вдруг что-то цензура выкинет, или автор сбежит, или вдруг бумаги по лимитам подкинут. Так что, когда время сдавать в типографию подходило – выкидывали «взятых сверх лимита» – а это всегда были самые бессильные, бесправные, безответные, и внутренним рецензентам издательства

приказывали изобрести в книге любой недостаток, чтоб найти повод прицепиться к нему и отказать.

Так что к концу семидесятых авторов первой книги моложе тридцати лет – не было в стране! Только отдельные блатные поэты по родственному благу – чьи-то дочери или племянники. И молодые-талантливые – спивались, как волна с пляжа откатывается в алкогольный океан, как кегли сами подпрыгивают и суют шейки в петли; суицидов много было.

Успешный, состоявшийся молодой автор – в тридцать два – тридцать семь первая книга: норма. Сейчас это невозможно передать, невозможно дать понять и почувствовать: вот вино переходит в уксус – это слишком выпренно, литературно, банально: вот как скульптурный гипс затвердевает и крошится, как бегун превращается в ржавеющего робота – вот так поколение выбивалось из литературы: медленно, последовательно, спокойно, без малейших признаков сочувствия или там заботы о литературе. Сволочные равнодушные чиновники уже правили всем.

А мы ввязались в гонку вооружений! Это прорва денег! А они все государственные! А еще надо кормить наших друзей, решивших пойти по пути социализма! Это вся шваль африканских и азиатских царьков, князьков и авторитетных местных бандюков, которые решили нагнуть население под себя. И все знали: объявишь себя социалистом или коммунистом, обругаешь Америку – и подставляй карман, русские прибегут и все задаром дадут. А где деньги, Зин?..

На издательство отпускалось меньше. На бумагу меньше, новые типографии исключительно под партийную литературу и пропаганду ставились, книжные планы – сокращались! И одновременно – упорные слухи фабриковались: СССР – самая читающая страна в мире! Слухи и народные мнения у нас, нужные Партии, изготавливала и внедряла Лубянка – а дальше зеленая сама пошла, поддержем да ухнем.

Никогда в новейшей истории книга не ценилась – во всех смыслах – так, как в 70-е годы в СССР. 100 000 тираж Марселя Пруста! Французы рты разевали и не верили! Да читало-то его тысяч семь от силы. А на полках стоял – для престижа – у завмагов, начальников всех рангов и так далее. Это был один из показателей престижа.

Продавщица книжного – ценная профессия, директор – вообще король. Им дарили духи и коньяк, устраивали билеты на концерты и на поезд, на прием к врачу, тряпье дефицитное могли принести и так далее. Ну, чтоб отложили книжечку. Хорошую, в смысле.

Была неофициальная профессия – книжный спекулянт. В Ленинграде он назывался «холодняк». Прекрасно были образованные и информированные люди. Мечта их – несколько лет поработать товароведом в магазине старой книги, букинистическом, на приемке книг, которые люди несли на продажу. Составить себе классную библиотеку, и разбогатеть, пуская ценные книги мимо магазина – либо дешево оценивая и откладывая для своего партнера, чтоб он купил. Это была дико блатная профессия, очень трудно было пробиться, закрытый рынок. Меня однажды долго звали на Староневском, за Московским вокзалом у Суворовского: ты разбираешься, ты честный, ты непустишь мимо магазина своим – связей не имеешь. За два-три года составишь себе фантастическую библиотеку, ты же любишь книги, а там – захочешь, так уже уйдешь. Называли кретином и сокрушались над моей злокачественной глупостью: ты просто себе же враг.

В «Березку», валютки для иностранцев, своих граждан уже не пускали. И все иностранцы знали: лучший подарок в интеллигентный дом, будут ахать, гладить со слезами, радоваться как дети – это книга из «Березки». Там самые ценные продавались. «Рыжий Мандель» – 80 рублей у холодняков (номинал – 2 рэ с чем-то), это был коричневый большой однотомник избранных стихов Мандельштама, единственное издание тех времен; «Большой Пастернак» – 70 рублей (стихи в серии «Библиотека поэта», полный формат), «Синий Булгаков» – 50, помнится. Иногда они до 100 могли подняться. Нормальные люди себе этого позволить не могли, да многие

и ездить на книжный рынок на край города боялись, его гоняли; и холодняков в подворотнях у букинистических боялись, их КГБ пасло, а засветился – и прощай «почтовый ящик», возможность заграницы – всего боялись в 70-е!

В среднем хорошая книга стоила 5 номиналов. «Домой возврата нет» Томаса Вулфа я купил за 15 рублей.

А вот книг живых советских прозаиков я там вообще не помню. Кроме буквально нескольких, о них скоро скажем.

А писателей-то вообще ведь до фига развелось после XX Съезда! Одних членов Союза писателей СССР – 11 000! А задние тоже хотят, ножками сучат! Все хотят печататься, быть писателями, жить на гонорары! А посылать на Колыму кормиться подножным золотом – уже не принято.

Мне в Ленинграде, в Союзе писателей, предлагали в конце 70-х: поезжай на два года в Свердловск, там на завод (по-моему, сам Уралмаш) оформят типа слесарем или кем разряда 3–4, квартира двухкомнатная отдельная (писателю же кабинет нужен!), зарплата двести на руки, а сам – работать в библиотеке местной и в архиве – писать производственный роман о строительстве и росте прославленного гиганта советской промышленности: ну там судьба героя, довоенные пятилетки, индустриализация, война, наше время, личные судьбы также, выполнение плана, новатор-консерватор, – ничего особо напряжного. С гарантией: издательство «Московский рабочий», тираж массовый 50 000, гонорар тебе, естественно, и по выходу – прием в Союз писателей: ты что, роман в московском издательстве!

Я отказался с ненавистью, просто с болью: не для того меня мама родила, чтобы я этим жлобам писал их фигню поганую. Но жалко было! Книга, тираж, гонорар, Союз писателей! Уж не помню, кто радостно ухватился за присланную в Питер эту возможность и поехал.

И вот в середине 70-х андеграунд в советской литературе уже оформился. Ну, позднее их направления классифицируют как концептуализм и метареализм, но в общем все это вариации постмодернизма. Однако – стилистика, эстетическая концепция не первична.

А первично. Во-первых. Всем в советской литературе места не было. Двери трамвая захлопнулись. Новеньким требовалась масса умения, терпения, настойчивости, упрямства, стойкости, чего угодно. Не позволить взять себя измором, не дать согнуть и задушить. Поставить себя в разряд исключения: да, всем нельзя – но я сумел, и тресните все! (Это тема отдельной лекции, интересно было бы когда-нибудь прочитать: «Как я не сдох и не позволил им сделать со мной что хотели». Вообще я об этом книжку когда-то написал, «Мое дело».)

Второе. Лжи, фальши, прославления пустых псевдоидей – стало столько, что не было сил не то чтобы терпеть – но вообще не раздражаться, не выходить из себя. К середине 70-х в народе нарастала исподволь массовая ненависть к советской власти: все нам врут, живем бедно, на все нужно разрешение, да чтоб вы сдохли, как надоели. И у молодого писателя, издерганного непечатаемостью, эти настроения злобно, невольно, подсознательно прорываются в текстах. Так кто их напечатает?.. То есть: уже не чтобы подпевания властным мотивам нету – уже вообще негативное мировоззрение прет сквозь все щели. Народ уходил во внутреннюю эмиграцию и оппозицию всей толпой, а писатели андеграунда еще и слова при этом писали не на заборах, как все нормальные люди, а на бумаге.

Третье. Я на всю жизнь запомнил, как один журналист из наших в 90-е годы в США сказал мне после интервью, за пивом: «Твоя книга «Хочу быть дворником» стала для меня тем поворотным пунктом, после которого я понял, что не могу больше переносить совок, и стал собираться уезжать». То есть я совершенно изумился и спросил, что такое: «Там же не было ничего антисоветского, ни одного рассказа, ни одного слова, кое-что даже наоборот!» Он так посмотрел на меня, не поверил, усмехнулся и сказал: «Милый мой, там каждая буква была антисоветской, ты понимаешь?»

И вот после этого до меня стала доходить мудрость советской цензуры. Свобода – она или есть, или ее нет. И если писатель не так ставит запятые, не так строит рассказ, у него сюжет не так и композиция не так – то как бы он ни клялся в лояльности, он не наш человек. Потому – что! На стилистическом уровне, на уровне пренебрежения грамматикой, учебником русского языка, утвержденного Министерством образования, на уровне нежелания держаться в каноне социалистического реализма, на уровне запятых не там и абзацев не так – это литература протеста! Несогласия! Вольнодумства! Оппозиционности! Содержание содержанием – но уже форма протестна! Форма неподконтрольна! Не управляема, не предсказуема! Автор в принципе диссидент: протестует на уровне языка, стиля, сюжета – это протест против общепринятой формы, против стандарта, против ЕДИНОМЫСЛИЯ! А формальное единомыслие и идеологическое – это соседи, родственники, это уже неблагонадежность.

Благонадежная форма – это аспект благонадежного целого!

Таким образом в 70-е годы формальное, стилистическое, поэтическое инакомыслие могло существовать только в андеграунде. Независимо от официальной литературы. В ином эшелоне, ином измерении. Что-то еще могли позволить Вознесенскому или Аксенову насчет вольности формы, но это были уже рудименты, остаточные явления типа подергивания сдохшего хвоста.

В Ленинграде андеграунд – это были прежде всего очень хорошие поэты Виктор Кривулин и Елена Шварц. С Витей мы учились когда-то на том же филфаке ЛГУ, он был парой курсов старше, и уже по характеру в гробу видал всех, с кем был не согласен. Кудлат, хром, плохо мыт и жутко креативен. С кем был более или менее близок – был очень дружелюбен, ласков даже, улыбчив, он умный был и вообще хороший на самом деле, хотя в конце 70-х – озлобленный, конечно: а жизнь была такая, все были озлобленные. Лену я не знал – я хорошо знал ее маму, ее весь культурный, так сказать, Ленинград ее знал, Дина Морисовна Шварц, «бабушка русского банкета», бессменный завлит БДТ у Товстоногова; жутко переживала, что любимая дочка, умница-красавица, пьет, занимается черт-те чем, стихи-то пишет, но что же это за жизнь, понимаешь... Простите, я уже на личности перешел, это неправильно. Были в Ленинграде и еще поэты; и «андеграунд», «богема» и «тусовка» – были, в общем, понятия почти адекватные. Пили много, беспорядчно и всякую дрянь – то есть вели активную беспорядчную алкогольную жизнь. Полагалось иметь неряшливый вид. (Я никогда не постигал, как неряшливые люди – зубы, волосы, одежда, немытость-небритость – могут любить друг друга. Это была какая-то анти-эстетика. Понимаете – облик был физически неприятный.) Тусовались в «Сайгоне» – Невский угол Владимирского, променад был оттуда до автопоилки на Пяти углах, там автоматы с портвейном тогда стояли. Уфлянд, Рейн, Довлатов – это был не то чтобы андеграунд, они хотели нормально печататься, но не выходило тогда, пили-гуляли бедно на околотитературные темы – это был как бы параллельный андеграунд, как соединительная ткань между двумя потоками твердо оформленными – литература официально допущенная и литература андеграунда.

Москва – это был Пригов, Паршиков, Кибилов прежде всего.

Заметить что необходимо.

Первое. Андеграунд – это не только литература. Это стиль жизни, это мировоззрение, это не только эстетическая, но и этическая система. Декларация этики – не сотрудничать с властью и презирать официоз. Практика этики: неопрятный быт, необязательные отношения, аморфные связи с окружающим – и хрупкая нервная гордость, переходящая в подловатую трусоватость, если прижмут – хоть ГБ, хоть в обычной драке. Увы.

Второе. Почти весь андеграунд – это поэзия. Потому что проза – это постоянный труд. Он связан с заточенным на этот труд образом жизни. Пить и писать прозу – ну, удачен опыт Фолкнера, но он был просто ежедневно выпивающим джентльменом, крепко выпивающим – но очень регулярно и планомерно, он встроил выпивание в ритм писания, этот его кувшин воды

со льдом, флакон бурбона, письменный стол, веранда, утро. А вообще писатель может уйти в запой – но не пить постоянно как образ жизни. А поэт – может! Выпил, курнул, вставился, расширился, восемь строк создал – на сегодня хватит. Богемный образ жизни требует: потехе время – делу полчаса.

Третье. Андеграунд не было в 60-е – ну вот весь социокультурный процесс иначе тек. И его не стало с концом 80-х – а уже все и так можно. Легализовались, издались, получили премии, увенчались лаврами, умерли, съехали. Так что это – очень даже специфика наших 70-х.

Ну, а где андеграунд – там и ЛИТО. Литературно-творческие объединения то есть. Это явления родственные. В ЛИТО тоже: пишут – но не печатаются. Вот ЛИТО было в 70-х – ну пруд пруди. При Домах культуры и заводских клубах, при библиотеках и редакциях, при институтах и в университетах: развелась масса грамотеев, которые хотели писать, и чтоб их научили, как писать, а потом – как печататься. Это очень характерная примета времени.

В Ленинградском университете я ходил в университетское ЛИТО, а уже в середине 70-х ходил в два самых крутых и высокопоставленных в Ленинграде: студию рассказа при журнале «Звезда» и семинар молодых фантастов Бориса Стругацкого при Ленинградской писательской организации. (Я об этом писал в книжке «Мое дело».) В семинаре Стругацкого люди были разные, возрастом от 23 до 50, для большинства это было светское времяпрепровождение, для части – литературная тусовка, заметные писатели вышли из давно уже доктора китистики Славы Рыбакова и еще нескольких человек. В «Звезде» уже было всего человек 12–14, возраст от 28 до 40, и высшим положением было: «Некоторые наши авторы уже ждут на подходе первую книгу». Саша Житинский там был самый крупный и заметный, Игорь Куберский был, Миша Панин; куда сгинул молодой Туинов, что стало с толстой и жутко важно-амбициозной кавказской дамой – кому интересно... Но помню хорошо прекрасную, блестящую по тем временам повесть Бори Дышленко «Пять углов» – написанную чисто, музыкально, изысканно, вещь слоеную – которую затоптали. Нормально! Не соцреализм. Ему было уже 37, он уже шел на укус: нервный, желчный, вспылчивый. Когда пришла свобода – Дышленко уже устал, потенциал сгорел.

Сегодня непечатающиеся таланты – невозможны! Любой занудный зануда, тянущий из сердца ведро соплей, жалуется, что его не издадут – а кто читать будет? А на фига ты нужен? Веришь в себя – издай себя сам, двести экземпляров, за свой счет, раздай всем друзьям, критикам, издателям, писателям – кто-то да клюнет, а там пойдет.

Эмиграции и высылки писателей, ужесточение цензуры, а еще – ЛИТО, андеграунд, самиздат и тамиздат, пяти-семилетние сроки выхода принятых уже книг, ловля редакторами даже не ведьм в тексте – но намек на мелькнувшую тень ведьмы – вот характерные приметы литературы 70-х. Не дай вам бог такую жизнь без реформ и перемен.

Для примера. Хорошо ко мне относившийся человек был другом составителя одного из регулярных альманахов современной советской фантастики. В издательстве «Знание» выходили пару раз в год тонкие такие мягкие бело-голубые сборнички. И он мне устроил публикацию: срок – дай готовое, если есть, объем – треть авторского листа или чуть больше (восемь машинописных страниц), жанр – фантастика, тематика – отечественная, вероятность публикации – 99,9 %. Там что-то слетело перед самой сдачей, надо срочно заполнить. Я попросил два дня, чтобы перепечатать набело, и за два дня написал простенький и невинный рассказ «Тест», а третий день перепечатывал начисто, по ходу чуток правя. Всерьез никогда к нему не относился, хотя даже мысль там есть, но я про другое. Составительница с ходу одобрила – и однако! Редактор! Уже редактируя сборник! Поправил! У меня там мальчик, который по врожденным данным был гениальный резчик по камню, хотел стать моряком и капитаном, к чему природных способностей не имел вообще. Но был так упрям, трудолюбив и верил в себя – что стал капитаном, да еще очень хорошим. И там в конце он у меня – красавец с седыми

висками, в белой тропической форме с золотыми галунами – сходит по трапу на берег Борнео. Острова Борнео. (Еще не Калимантана даже.) Сказочная экзотика недостижимых и непо-стижимых Южных Морей. Он воплотил мечту и сказку. Вы поняли, простой советский маль-чик! И редактор понял: простой советский мальчик. И вместо Борнео поставил Владивосток. Потому что – любая заграница была подозрительна, если туда ехал советский человек! Это что – намек? Что поехать за границу – это важное событие? Что у них там лучше? Что туда моряки иногда сбегают? И не только моряки там остаются? Не надо трогать эту тему, не надо!.. Люди могут не так понять.

Вот что такое были советские семидесятые. Вот чем мы дышали и как нас имели во все места, природой предназначенные для прекрасного и высокого.

В таких условиях следует ждать выхода в первый ряд коммерческой литературы. И она вышла. Вышел крупный и ни на кого не похожий писатель, битый-катаный, Валентин Саввич Пикуль.

Пикуль был с 1928 года, ленинградец, первую блокадную зиму был в городе, выжил, эва-куирован, в пятнадцать лет сбежал в школу юнгов («юнгов», так говорилось по-русски долго, и тогда еще тоже), был матросом, водолазом, пожарным, литературного образования не имел, писать начал в 1950-е. Начал писать, первый роман «Океанский патруль» о мирных буднях военного флота успешно вышел, но на фиг не нужен, а вот потом появились два исторических: «Баязет» (русско-турецкая война 1877–78) и «Париж на три часа» (1812, Наполеон отступает из Москвы, а спятивший генерал Мале устраивает переворот в Париже) – они были интересны, познавательны, этих вещей в Союзе никто не знал, кроме нескольких сотен историков, и напи-сано это было неплохо, талантливо, выразительно.

Но. Характером Пикуль был крут. Храбр, безогляден, размашист. И – пил. Сами пони-маете, это усугубляет. А дружил он с Курочкиным, который чудесная повесть «На войне как на войне», и Конечким, моряком, остроумцем, преуспевающим тогда писателем и любимцем уже флота. Ну – втроем и пили. Но! Пикуль не каялся. В гробу всех видал. Он мог и про Обком партии вольно отозваться в своем кругу, но круги были с ушами, и секретаря Союза писателей под горячую руку послать.

Короче. Вторым секретарем Ленинградского СП был тогда Даниил Гранин. А это него-дней известный, хотя узко известный. Широко известный как чудный человек. Он всю жизнь скрывал, что еврей, скрывал, что воевал не ополченцем и танкистом, а замполитом ремонтного батальона, и так далее. Он весь ум направлял на создание себе репутации. Он председа-тельствовал на собрании, где просили завести на Бродского уголовное дело и судить. Он был среди секретарей-писателей, осуждая Солженицына и исключая его из Союза писателей. При Бреж-невке он был заслуженный коммунист, при Собчаке – выдающийся демократ, при губернаторе Яковлеве – деловой либерал-консерватор, при Фонде Сороса на Северо-Западе РФ – распоря-дителем фонда, или директором, главным, короче. Нет Фонда – плевать на Сороса и США. За эту кристальность души писатели ему под занавес дали премию «За честь и достоинство». Вот такие у этой братии мозги и вот такое у них представление о чести и достоинстве.

В 70-е годы Гранин был на слуху и очень авторитетен. Но мы о другом.

В 1962 году Обком КПСС указал принять меры к идеологически невыдержанному хули-гану Пикулью. И Гранин, второй – рабочий то есть – секретарь Ленинградского Союза писате-лей – выдавил его из Ленинграда. Было дано понять, что жизни здесь не дадут. А отъезд раз-решит ситуацию: нет человека – нет проблемы. Так Пикуль оказался в Риге, где и прожил всю оставшуюся жизнь.

Короче. В 1970 году «Звезда» печатает повесть Пикуля «Реквием каравану PQ-17». Успех огромный! Фамилию запомнили! Да не знали мы ничего, кто сам в войну лично не стал-кивался, про эти караваны, и про ленд-лиз только слово знали и что-то слышали. И написано хорошо: броско, выпукло, ярко, энергично – выразительно и просто. Это был дебют Пикуля в

большой литературе – хоть это кому нравилось, хоть нет. (Ну, что там кое-что, целые сцены, списано почти дословно из знаменитого романа МакЛина «Его Величества корабль “Улисс”» – это мы узнали уже после советской власти, когда издали).

Потом вышел роман «Моонзунд» – о сражении германских кораблей с российской береговой артиллерией на Балтике в 1917 году; и революция, и социальные процессы на флоте, и военное дело. Ничего народ про это не слышал никогда!

А в 1972 выходит лучший русский исторический роман – да, примерно вот так! – лучший русский исторический роман «Пером и шпагой». И он становится бестселлером. Его невозможно купить. Он продается за те же 5 номиналов на черном рынке – хотя идут стотысячные тиражи. Началась слава Пикуля.

История-то в СССР была в полном загоне – по понятным причинам. Кроме идеологизированного романа «Степан Разин» сейчас и вспомнить ничего невозможно. Традиции второй четверти XIX века – «Юрий Милославский» Загоскина, «Дмитрий Самозванец» и «Мазепа» Булгарина, Лажечников еще – давно канули, минули и сгинули. Непредсказуемое российское прошлое развернуться писателям не позволяло: вам к следователю. И – вот!

Советский народ с изумлением узнал, что была Семилетняя война, и Россия в ней участвовала! И даже брала Берлин. И был прусский король Фридрих Великий, который воевал один против всех, и это он, а не великий русский полководец Суворов первым, сказал знаменитое: «Мы будем воевать не числом, господа, а нашим несравненным умением!» И – впервые на памяти читателя! – враг был изображен не моральным уродом и глупцом, а человеком очень умным, мужественным, человечным и храбрым. Мы слышали о шевалье де Еоне, «Оленьем парке» Луи XV, канцлере Бестужева, любовниках Екатерины (только слухи передавались раньше), убийстве Петра III, и очень много о чем еще. Да мы просто открыли для себя русскую историю того века!

Стоит сказать и о языке романа. Короткая, четкая, щегольски стилизованная фраза. Элементы архаики для создания настроения эпохи, чтоб повеяло духом того века – скупое, умеренно, только для создания атмосферы, стилистики сцены.

Литературный штамп, доведенный до своего логического завершения и тем самым до совершенства приема – один из важных принципов Пикуля. Вся экспозиция сцены в краткой фразе типа «Ветер рвал плащи с генералов» или «Лошади рушили фургоны в воду» – это запоминалось на всю жизнь!

Пикуль брал историческую версию, широко известную очень узкому кругу историков – и по ее канве вышивал свой роман, весьма аккуратно придерживаясь фактов – особенно там, где в точности единственную версию фактов никто не знал.

Пикуль дал советскому (русскому) народу давно забытый интерес к истории – видит бог, это уже великая заслуга. И интерес личный, искренний, неслужебный, для себя, потому что история – это очень увлекательно, и поразительно, и часто смешно, и так далее.

«Пером и шпагой» остается вершиной Пикуля. Потом была «Битва железных канцлеров» – Бисмарк и Горчаков, объединение Германии, дипломатическая и политическая подкладка Крымской войны – да что мы об этом знали? Да ничего мы раньше об этом не знали. Только историки, только проходя по программе: к экзаменам прочитал – и забыл.

Пикуль еще много написал, но уже – не так твердо, не так круто сварено и четко организовано. И «Фаворит» (эпоха Потемкина), и «Слово и дело» – при огромности материала несколько рассыпаются на куски.

Историки, конечно, завопили, что Пикуль невежда и все врет, литературные критики завопили, что он не писатель, а автор чтива для масс – ну, то есть все как полагается. И вот уж героев иных времен позабыли почти всех, а Пикуля все переиздают и читают. Время – тоже неплохой критик, как говорится.

(Потом, уже в перестройку, Пикуль опубликует роман «У последней черты» – Григорий Распутин и эпоха революции. Бестселлер был убойный! Критика разнесла страшно – сам идеолог Партии Михал Андреич Суслов лично сурово критиковал.)

А вообще главным художником 70-х стал дорогой наш Юлиан Семенов. То есть «17 мгновений весны» вышли точно тогда, когда нам надо – в 1970 году. И стали на ура читаться сразу. Но, в гуще буйных событий тех времен, когда Партия и правительство сворачивали шею родной литературе, «17 мгновений» были не на виду, конечно; не у рампы в огнях.

А ведь написана книга прекрасно. И стилистически, и психологически, и подетально. И что ново, важно, ценно: «образы врагов», как это называлось, не злые карикатуры, а действительно образы людей – умных, усталых, в тяжелой ситуации, со своими огорчениями и интересами, и у каждого – свои привлекательные, хорошие черты есть, потому что живые люди же, ну и разведчик наш в их среду давно вжился, стал одним из них психологически. Это очень ново было, резко, неожиданно, свежо; это мало кто тогда понял. Шутки шутками – но психология авторской позиции в «17 мгновениях» – это уход от мировоззрения холодной войны к общечеловеческому гуманизму. Вот! Но написать такое в рецензии тогда – это было бы как написать донос.

Но! В 1973! Осень! Выходит телесериал «17 мгновений весны»! Непревзойденный с тех пор шедевр нашего сериального искусства! И этот сериал становится буквально главным эстетическим знаком эпохи.

Штандартенфюрер Штирлиц, Вячеслав Тихонов, – наш главный герой, рыцарь без страха и упрека. Мюллер-Гестапо, Броневой, – неотразимо обаятельный и мудрый враг-джентльмен. наших подпольщиков бесспорно жалко, но эти эсэсовцы – такие славные ребята, прямо начинаешь любить их.

До сих пор не опубликовано научного такого, социопсихологического, эстетического и этического в сочетании, анализа этого сериала в восприятии советского народа – победителя фашизма. А это парадокс не такой простой.

Вся жизнь наша в 70-е годы превратилась в анекдот. И любовь к Штирлицу – это отнюдь не только любовь к герою-разведчику или к очень хорошо сделанному кино. Это – одновременно – чувство протестное! Это своего рода черный юмор: мы любим эсэсовцев – что смешно и приятно на фоне вашей безумной вакханалии фальшивых патриотических славословий. А то, что центральный эсэовец – наш разведчик, так это отмазка, почему нам дозволено их любить, и одновременно перенос идентификации – мы тоже на самом деле красивые и смертоносные эсэсовцы в черном, трепещите с вашим коммунизмом!

О, любовь к штандартенфюреру – это феномен коллективного бессознательного 70-х годов, и важный, принципиальнейший феномен. Заметьте, ни один полковник в советской форме такой симпатии не вызывал. Ни фига се, да?

Ну, заодно необходимо вспомнить другой сериал, второй по популярности и любви народной – «Место встречи изменить нельзя». Им завершались 70-е годы, он уже в конце 79-го года вышел. Его все знают.

А роман, «Эра милосердия», по которому он поставлен, братья Аркадий и Георгий Вайнеры напечатали в 1975. Роман хороший, хотя сериал вышел гораздо лучше. Об этих различиях мы с Георгием Вайнером, с Жорой, где-то в 2000 году в Нью-Йорке говорили, сидели вечер.

Но была ведь еще струя совсем другая! Ее гораздо больше награждали и хвалили, хотя гораздо меньше читали. Деревенщики! Литература народная, от земли, русская, славянофильская, традиционная по форме и ценностям, консервативная по мировоззрению, здоровая духовно. Да, вполне можно так сказать.

Виктор Петрович Астафьев. Фронтовик, крестьянин, честный человек. У него вышла книга длинных новелл, цикл, или роман в рассказах – «Царь-рыба». Сибирская, северная, реч-

ная, лесная в основном жизнь. Книга хорошая и добрая. Наград нахватала, огромным тиражом вышла. Язык – ну, с вычурностью. Чтоб понароднее. Вода летит не брызгами, а комьями, и тому подобное. Но ничего. Зато энергично и выразительно.

С мыслями беда! Городские парни – плохие: развратные, слабые, без чести и совести, стяжатели-потребители. Деревенские, охотники и тому подобное – простоваты, незатейливы, слов столько не знают, зато надежные, порядочные, верные и добрые. Земля – в ней добро, город – зло. Спасибо, понял. А человек был прекрасный, честный, прямой. Жизнь его озлила. (В конце жизни написал «Прокляты и убиты». Война. Истребление всей крестьянской молодежи. Жукова ненавидел, мясником и кровопийцей называл.)

В 1974 году в журнале «Наш современник», который тяготел именно к консервативной народной литературе, скажем так, вышла повесть Валентина Распутина «Живи и помни». Вот тут резонанс был действительно огромный. Едва ли не по всем библиотекам страны прошли обсуждения и дискуссии: горестная история, почему Андрей стал дезертиром и что ему было потом уже делать, а как быть Настене (жене) такой прекрасной, и нельзя ей было топиться, и ребенка неродившегося погубила, а односельчане гады, однако, хотя и советские люди. В общем, серьезная мелодрама военной эпохи. И ситуация неоднозначная, и дали бы Андрею отпуск после ранения – так ничего бы и не было, но все равно дезертировать нельзя.

Я помню, читал, и все мне нравилось, и вдруг под конец возникло глухое раздражение, злоба буквально. Дидактика полезла под конец (мне так показалось) – как поступать выйдет плохо, а как правильно и выйдет хорошо, хоть и чувства. И вот преступишь долг свой перед Родиной и государством – и себя погубишь, и жену погубишь, и сына погубишь. И когда дезертир ночью на охотничьей заимке завыл в унисон волку в лесу – вот эта лобовая метафора меня просто отшибла.

Но это мое мнение, вы читайте, большинству очень понравилось. Видите ли, я не переносу сопливую сентиментальность только в том случае, когда она ханжески притворяется реализмом.

Еще один народник – эх, жаль много о нем сказать не успеем, прекрасный был бы писатель, если бы не спился и не продался – Виль Липатов. У него когда-то был гениальный рассказ «Мистер-Твистер». Сейчас в Интернете все есть – прочтите, не пожалеете.

Вот этот Виль Липатов в том же, помнится, 70-м году... Вообще 70-й, если итожить – жутко интересный и показательный был год: будто линия перегиба на листе бумаги, масса таких показательных, иных совсем, не как в 60-е годы, произведений. Темы сменились, настроение сменилось, и даже эстетика сменилась – да еще как!

В 70-м Липатов публикует повесть «Серая мышь» – о пьянстве. Достоевский тоже сначала начал писать роман «Пьяненькие», пока Раскольников старушку не зарубил... Но в наши времена – в жизни пришибают чем ни попадя налево и направо, но в литературе это как-то не комильфо. У Липатова пьют без таких криминальных последствий, но зато масштаб, если подумать – страна спивается, народ наш советский спивается. Шо да – то да.

Затронув тему сентиментальности – Борис Васильев, который в конце самом 60-х прославился, «А зори здесь тихие», тему свою продолжал в своем же ключе, печатался в «Юности», повесть «В списках не значился» и другие. Там любовь, смерть, казематы темные Брестской крепости уже пустой, юный лейтенант и юная девушка. Вот за что мир полюбил после Первой Мировой Хемингуэя и других! За правду! За нетерпимость ко лжи! Вы представьте себе: воды нет, жажда мучит, лето, бетонные темные подвалы, потные, грязные, неделями, – здесь любовь настолько не куртуазна, ну вы куда от физиологии денетесь, от тел своих со всеми их делами и подробностями, ну оставьте вы свою эстетику наших Ромео и Джульетты, там кружева, духи, чистый воздух и свежее белье – а здесь, где все иначе, и чувства оформлены иначе, врать не надо, уберите вашу условную конфетную сиропность из пейзажа с реальными тягостями войны.

Ну что. Необходимо еще упомянуть прекрасный, блестящий роман Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», но о нем надо серьезнее говорить в рамках советской военной прозы.

И раз 70-е – упомянем «Разные дни войны» Константина Симонова, беспрецедентные в советской традиции дневники, где первый том – «1941», а второй – остальные годы; где впервые говорилось об ужасе и панике отступлений, где впервые прозвучало слово «драп», где впервые говорит вслух генерал Петров: «Почему вечно немцы на высоте – а мы внизу в болоте?» и так далее. Их очень читали.

И в огромной мере, в огромной мере – 70-е прошли под знаком Высоцкого. О нем тоже отдельный разговор. Но в литературе, искусстве, поэзии 1970-х годов – место Высоцкого важнейшее, роль его огромна. Вот буквально его позитив героизма, стоицизма, мужественной трагедии, любви к жизни в любых условиях – вот дух поэзии Высоцкого был как некая эталонная вертикаль духа несломленного, неразворванного в этой поганой кислоте времени.

...Для меня лично 70-е годы кончились летом 1979, когда я понял окончательно, что ни в родном Ленинграде, ни вообще в России, РСФСР, и в окрестностях, никто мои рассказы – вот такие, как я хочу писать и пишу – печатать не будет. И я уехал в Эстонию, в Таллин. Это была малая советская граница. Там можно было то, чего нельзя в других местах.

А вообще конец был ужасный, безнадежный был конец.

Вот если посмотреть:

1970 – Нобелевская премия Солженицыну; гонения пошли.

1972 – уехал Бродский.

1974 – умер Шукшин; выслан из СССР Солженицын; уехал Галич.

1976 – уехал Гладилин.

1978 – лишенный научных званий, выслан из СССР А. Зиновьев.

1979 – умер Константин Симонов.

1980 – умер Высоцкий; лишен гражданства уехавший Аксенов.

Ну, и в марте 1981 умер Трифонов.

...15 ноября 1982 года хоронили Брежнева. Мы, Всесоюзный семинар молодых писателей, фантастов, приключенцев, сидели в Доме творчества в Малеевке, в зале административного корпуса, перед большим телевизором. Музыка, молчание.

И вот массивный дубовый полированный гроб опускается на двух полотенцах двух полковников КГБ в комбинезонах и ондатровых шапках, которые вдвоем всего были наряжены протоколом на этот финал огромной и скорбной Всесоюзной церемонии...

И гроб срывается! И с грохотом рушится на бетонное дно могилы! Микрофоны работают ат-лично! И вся страна отлично это слышит – прямой эфир, никто не работает, Брежнева хоронят!

Через секунды ударяет артиллерийский салют – раскатисто, громко, а заглушать стук падения уже поздно. Но от этого мощного залпа – почему камера вдруг показывает небо? – ворона вдруг срывается с кремлевской башни и летит через весь небосвод, летит и машет крыльями черная большая ворона в сером низком ноябрьском небе.

Вот ни фигура не белокрылая чайка слетела в высокую голубую высь, как душа чистая, понимаешь. Черный ворон, по прямой линии, через серую мглу. Уж пардон, если кто в этом что увидел.

Вот так для нас кончились семидесятые годы.

Запрещенный Фаддей Булгарин

Герой нашего сегодняшнего разговора занимает в литературе – да и в истории – да и вообще в мнении народном – место совершенно особенное. Вот широкий литературный проспект – и на нем отдельный, архитектурно выделяющийся карцер. Даже с архитектурными излишествами постройка. И над окошком – именная табличка. И написано на той табличке «Фаддей Булгарин».

Ну, люди так устроены, что их хлебом не корми – дай посадить кого-нибудь в карцер. Не волнуйтесь, когда все тюрьмы отменят – они будут создавать их в своем воображении. И эков негодяйских будут себе создавать в своем воображении. И – самое главное! – будут им придумывать злодейские биографии.

Почему? Потому что без этого нельзя. Таково наше коллективное бессознательное. Нам потребно быть группой, и нам потребен кумир, и нам потребен враг. (О социальной психологии как продукте эволюции мы поговорим в другой раз; да уже в других местах и говорили.)

Карцер! Над ним – яркий позорный флажок! А на окне вместо решетки – фанерка с карикатурой, с историческим шаржем, искаженным временем. Роба на той фанерке оконной нарисована – отвратная, порочная, гнусная физиономия негодяя. Вот в такой гербарий Булгарин попал, вот такая ему картина маслом!

Будет знать, как травить Пушкина и писать доносы в полицию! А вот как Кромвеля – оторвать, повесить, сжечь и разбросать без погребения. М-да... Вот это полтора года с Фаддеем нашим Венедиктовичем и делают.

Н-ну: так у нас царь – Николай Кровавый или святой мученик? Сталин – отец народов и самый эффективный менеджер – или кровавый тиран и убийца? Солженицын – литературный власовец или нобелевский лауреат и совесть народная? Троцкий – иудушка и создатель троцкизма – или руководитель Октябрьской революции и создатель Красной Армии? Кстати, Достоевский – «полуразложившийся мистик» – или великий романист и глубочайший психолог? Да: Россия – страна с непредсказуемым прошлым...

История российская нелегкая тысячелетняя сформировала в массах рабскую психологию. Трудно быть рабами. Но когда появляются среди нас свободные люди – рабы их травят, плюя даже на собственную выгоду. Потому что свободный среди рабов – генетически чужд. И никакое самопожертвование ради рабов тебя не спасет.

И притом! Вокруг свободного человека – всегда будет кучка сторонников, друзей, помощников преданных! Н-но – гадов всегда больше, и они при власти.

И вот именно рабская психология – требует иметь образ кумира, чтобы ему поклоняться – и образ врага, чтобы его ненавидеть. Вот такое примитивное манихейство. Поляризация социокультурного пространства – чтобы оно ориентировано было, организовано, чтобы противоположные чувства напрягли общее единообразие: белое люби – черное бей!

Как вы уже поняли, Фаддею Булгарину в нашей истории не повезло. Он попал под замес. Есть постамент в пантеоне культуры, на котором написано: «Враг»! Может, у кого в иных странах нет – а у нас тута завсегда есть. Нет виновных? – назначим. Потому что должны быть ответственные. Народ ни в чем не виноват. Кумир во всем прав. А почему жизнь кривая? Враги гадят! Найти, заклеить и обезвредить.

Н-ну-с, поскольку проклятый царизм, равно как и прекрасная гармоничная Россия, в общем и целом ни в чем виноваты быть не могут, ибо это наша высокодуховная родина, сынок, – Фаддея Булгарина лучшие люди страны ухватили, заклеили и обезвредили. И он теперь среди великих портретов – как жук на булавочке.

Что я тут могу сказать? Врали вам тысячу лет – и еще тысячу лет врать будут. Петь – хором, ходить – строем, спать – по часам, думать – по указу. Но иногда в их программе прокатывают не все номера.

Я с годами идиотов очень плохо переносить стал. А идиотов с амбициями, важных и самолюбленных, просто боюсь видеть: ручаться за себя трудно. И делается очень печально, когда достойные люди, уже ушедшие от нас, несли полную чушь насчет Булгарина – Пушкина, повторяя чужие измышления – абы держаться в рамках традиционной культурной модели «белое – черное».

Итак. Сеанс разоблачения магии для дураков и стада. И сдирание мерзких покрывал с фигуры великого русского писателя – бесстыдно и нагло оболганного и оклеветанного. Без которого русская литература XIX века – да просто не существует! (Ах, что вы такое говорите! что он несет, как можно!.. прекратите переписывать историю!) Немного правды о Фаддее Венедиктовиче Булгарине.

Ян Тадеуш Кшиштоф Булгарин родился в 1789 году, в родовом имении на территории Минского воеводства, на тот момент это была Польша; вернее, Великое княжество Литовское в составе Речи Посполитой. Государство Польша. Дворянин, из шляхты, род свой возводил к легендарному Скандербегу (Искандер-бею, он же князь Георгий Кастриоти) – фигуре исторической, великому албанскому воину XV века, возглавившему освободительную борьбу против турецкого нашествия. А по матери он из рода Яна Бучинского, канцлера русского царя Дмитрия Ивановича, он же Лжедмитрий Первый.

Отец Яна Тадеуша был другом и сподвижником Тадеуша Костюшко (в его честь и назвал сына), сражался в восстании 1794 года, где поляки пытались отстоять остатки независимого государства. Был обвинен в убийстве русского генерала Воронова, осужден и сослан в Сибирь, где и сгинул, помилованный перед смертью.

В 1795, после подавления восстания, произошел Третий раздел Польши, окончательный, она перестала существовать как государство. Имение оказалось на российской территории и в новых условиях было отобрано влиятельным лицом. Семья осталась без средств и без кормильца.

Мальчику было девять лет, когда мать повезла его в Петербург и пристроила, как дворянского сына, в Первый Санкт-Петербургский кадетский корпус (на тот момент он назывался Императорский сухопутный шляхетный кадетский корпус). Там Ян Тадеуш стал Фаддеем, там провел восемь лет; и это не были легкие годы.

Помогло то, что на тот момент директором корпуса был генерал граф Ферзен, известный по подавлению польского восстания – который прежде стоял штаб-квартирой в Несвиже, близ него было имение Булгариных, с кем он водил знакомство, и помнил мать и маленького мальчика, который рубил мебель и бил посуду, объявляя, что это он бьет москалей: родители конфузились, генерал забавлялся.

И. Ну представьте: вот недавно подавлено восстание польских мятежников против России и православного царя, вот Польша теперь часть Российской Империи, мы самые сильные и главные, всех врагов гнем в бараний рог. Ну, и как живет польскому мальчику, не шибко и говорящему по-русски, в таком закрытом мальчишеском коллективе? А его с детства учили гордиться своим родом, своей историей. Для начала на новичке оттаптываются: дразнят, травят, бьют морду. А еще старшие «цукали» младшим: традиции дедовщины в армии – они имеют очень древние корни, знаете. Вообще несладкое детство, и травмы в душе остаются на всю жизнь; это уже прекрасная основа для будущего писательства.

Поймите, пожалуйста: кадетское училище – это не Царскосельский лицей, порядки и нравы здесь иные, закрытая военная система. И вот побежденный – живет и учится среди победителей! А мальчишеские нравы жестоки, правила круты, жаловаться некому и нельзя. Казарма мнет и лепит человека по установленному образцу.

Что такое отрок – польский шляхтич? Это впитанное с молоком матери национальное самосознание. В Польше уже двести лет существовала конституция! И гетманы гетманами, короли королями, а была она по конституции той «шляхетской республикой». И помнила недавнее время своего величия – самое большое в истории государство славян, от Балтики до Черного моря, могучее, культурное, европейское. И развитое уже в XVI веке книгопечатание, тысячи светских книг, Краковский университет вообще в 1364 году основан, в Московской Руси еще Мамаево побоище не произошло; когда Коперник распространял в Европе свою гелиоцентрическую теорию, в деревянной Москве правил юный Василий III, а будущая мать Ивана Грозного Елена Глинская бегала маленькой девочкой – в родном Великом княжестве Литовском, кстати. А русские, кстати, почитались в Польше не только ныне оккупантами и захватчиками, но вообще московитскими варварами. Так это же надо понять! И знать, учесть! Каково было польскому мальчику, юному родовитому шляхтичу оккупированной страны, расти и воспитываться среди победителей! Эти внутренние терзания, недоумения, унижения незаслуженные, беспомощность и бессилие, сознание полной безысходности своего положения – вы что думаете, такое детство забывается? Думаете, это ничего не значит? А в углу казенной спальни давно не плакали, откуда выхода нет? И дома своего нет, и отца нет и не будет?

Вот что я вам скажу. Не были вы изгоем, не принадлежали к «национальному меньшинству», не били вас за это и не травили, не воспитывались вы в казарме оккупантов, сунутый туда с плохим знанием их языка; не гнали вас из собственного дома, не сажали отца, не прожили вы жизнь в оккупации, не лишалась родина ваша независимости и самостоятельности. А если с вами такое происходило, и вы все равно ничего не поняли, каково это ребенку, гордому мальчику, – что с вас, скотов, взять: скудная прямота мыслей ваших и тупость чувств сочетаются в совершеннейшей гармонии. Конец лирического отступления. (Разумеется, «скоты» – это ни в коем случае не о присутствующих, это об отсутствующих здесь несогласных, вы поняли, конечно.)

Вытерпел! Прижился, приспособился, сформировался в той атмосфере. Поставишь себя, привыкнешь, обомнешься – и любые ребята увидятся тебе нормальными пацанами, у всех свои хорошие черты, со всеми, в общем, поладить можно. Да и преподавали в корпусе прилично, и кадеты были не идиоты, и языки давали, и книжки читали некоторые умные; и даже стихи начал сочинять наш кадет, и сатиры, и басни, – овладел, в общем, русским языком.

Кстати, он был мечтателен и рассеян, писать любил, и вечно был в чернильных пятнах; что также не повышало его строевой статус. (Это вам не наполеоновская Франция – русский кадет был до первого офицерского чина порот, как сидорова коза. Про солдат молчим.)

Понимаете, у мальчика была очень хорошая память и самостоятельный активный ум. Поэтому на занятиях он читал книги, а отвечал на вопросы преподавателей не дословной зубрежкой, а своими словами. За что имел низшие баллы. И только после скандала на экзамене, где ему поставили высшие оценки и перевели через класс выше, положение изменилось. Хотя на прощание командир роты, армейский полковник, выпорол его так, что Булгарин месяц провёл в госпитале. Всякие были там люди в кадрах, понимаешь. А розги вполне входили в воспитательный ассортимент.

И семнадцати годов Булгарин был выпущен корнетом в Лейб-гвардии Уланский (Его Императорского Высочества Великого князя Константина) полк. Полк был новенький, что называется, только учрежден, обмундировка щегольская, а служили в нем в основном поляки (российские, естественно), литвины и белорусы. Вообще при создании имелось в виду, чтоб в нем учитывались особенности и традиции польской легкой кавалерии. (Историю этого полка потом очень качественно напишет бывший его поручик Крестовский, ставший знаменитым писателем, автором стихов, очерков, романов, знаменитых «Петербургских трущоб» – это по

которым сериал «Петербургские тайны».) (А кстати – главнокомандующим кадетским корпусом был треть века после Ферзена тот же Великий Князь Константин.)

Корнету Булгарину не исполнилось еще восемнадцати, когда русская армия столкнулась с наполеоновской в битве при Фридланде. Очередную свою победу император одержал, русские были разбиты, но легкая кавалерия на своем левом фланге показала себя героически, уланы ходили в атаку не раз, столкнулись даже с наполеоновскими кирасирами, ударили и выстояли удачно, а это была лучшая тяжелая кавалерия в мире, наполеоновские кирасиры, и в прямом столкновении, в рубке выстоять перед ними уланам – это высокая честь, знак доблести и качества, было чем гордиться.

Булгарин был ранен, за храбрость награжден орденом Святой Анны 3-й степени.

В следующем, 1808 году, русская армия пошла в шведский поход – отбирать у Швеции Финляндию. Эта кампания в русской истории излишне не рекламировалась, и славы в ней было немного. Булгарин совершил кампанию с полком, и свидетельствует подобно другим, что финские селяне вели уже тогда партизанскую войну против русских: идти под Россию не хотели; о чем их не спрашивали.

Эта война окончилась к осени 1809, имевший ранения орденосец и боевой офицер Булгарин выслужил чин поручика – и с тем его военная звезда закатилась. Офицерская молодежь гвардейской кавалерии много себе позволяла, отношение начальства к кутежам было снисходительное, Булгарин писал стихи к случаям и в том имел полковую известность – и нелегкая дернула его написать сатиру на шефа полка, Его Императорское Высочество Цесаревича и Великого князя Константина. А сам попался ему на глаза в петербургском маскараде, куда удрал самовольно чуть ли не с полкового дежурства. Командир полка, любимый всеми генерал Чаликов Антон Степанович, был молодым офицерам отец родной – но на резкое и категорическое неудовольствие Константина (что было редкость, тот был отходчив) должен был отреагировать; ибо текст (утраченный) имел репутацию скандального.

Булгарин был отчислен из полка и отправлен в Кронштадт – что надо рассматривать не столько как гауптвахту, сколько не то ссылку, не то командировку – в место недалеее, близ столицы, но глухое и скучное на тот момент, «дыра», как позже будут называть такие места офицеры. Выйдя с «губы», службу продолжил уже в том гарнизонном полку. Там каторжный двор, там своя «светская жизнь», там сугубо флотские дела. Больше полугодом в Кронштадте для Булгарина – вроде отстойника для временно пониженного по службе, чтобы решить, как поступить с ним дальше. Похоже, запальчивый гордец не каялся и не кланялся.

И в итоге был направлен в армию, что резкое понижение статуса и карьеры, в Ямбургский драгунский полк. Столичный гвардеец, участник сражений, имеющий ранения и награды, и отчисленный за дерзость – такой офицер в 21 год, сами понимаете, должен был держать себя гордо и честь свою и достоинство блюсти. Случилась деликатная история, Булгарин проявил вспыльчивость без раскаяния, убежденный в своей правоте и гнусности соперника. Вообще это понимается так, что попытку дуэли начальство замяло, не желая скандала и уголовных наказаний в полку, поскольку дуэль числилась в уложении о наказаниях преступлением, и первый минус шел в послужной список командира полка. Ну, всем людям служившим это понятно.

А непонятно с «увольнением из армии». Это как: именно уволили – или предложили подать в отставку, от какого предложения нельзя было отказаться? Если учесть, что всю жизнь Булгарин сохранял самые теплые отношения с однокашниками и сослуживцами, и что никто никогда не бросал ему обвинений в бесчестье в его армейский период – то именно второе и никак иначе. Не выгнали из офицерских рядов – что несмылаемый позор. А вынудили уйти в отставку из-за дела чести. Вот тогда все концы сходятся.

Господа мои – не может быть принят ни в обществе, нигде, человек, именно выгнанный из офицеров! Вот Толстой-Американец был бесчестен – шулер, и все дома для него были закрыты (ну, почти совсем все).

Н-да, а стоял Ямбургский драгунский в Вейсенштейне, это ныне Пайде, в Эстонии, семьдесят верст от Ревеля. Где и очутился наш герой нищим и бездомным.

Вот отсюда начинается вообще фантастический и бредовый период его жизнеописаний. Один пишет, что нищий Булгарин продал ради пропитания свою единственную шинель. Другой пишет, что не свою, а чужого денщика, и не для пропитания, а пропил.

Внимание! Поскольку через двадцать лет юный и бедный безвестный Николай Гоголь приедет в Санкт-Петербург добывать место под солнцем и славу, и придет к знаменитому журналисту и издателю Булгарину, и Булгарин найдет ему для начала мелкую чиновничью службу и будет протезировать – то вот она, шинель! «Шинель»! Та самая! Из которой вышли мы все – или они все. Проел ее нищий Булгарин, или пропил, или украл, или зная не знал никакой шинели и ходил в статском платье – не колышет! Ибо легенды о нем по Петербургу уже ходили – а слухи Гоголь умел хватать на лету, как голодная чайка.

Потом он поехал навестить мать, Булгарин то есть.

Потом он завербовался, поступил – в Польский Легион.

О Польском Легионе эпохи наполеоновских войн есть отдельные книги, и для нас сейчас углубляться в историю вопроса крутовато будет. До утра не вынырнем. Но! Поскольку отсюда идет уже густое вранье... нет, так говорить нельзя, мы не на базаре: идут некоторые неподтвержденные разночтения – о! То сейчас уже будет интересно. Потому что можно начинать сеанс разоблачения магии.

Легион носил в разные времена и в разных местах разные названия – время было бурное, все менялось молниеносно. Легионом Вислы он дольше всего назывался, переформировывался постоянно, и нас это сейчас не колышет, простите, естественно. А важно – что. Была кавалерия. Были уланские полки. Делились на эскадроны, эскадрон (по французской структуре) – на две роты. И ими командовали – по-русски это звание в кавалерии было ротмистр, по-европейски говоря капитан, каковым капитаном наполеоновской легкой кавалерии, польского уланского полка, Булгарин и был.

Сейчас – главное место, толстый клубок бифуркации. Был Висленский Легион, и он в 1810–1811 годах сражался в основном в Испании, отлично себя зарекомендовал. И вот там Булгарин, по его утверждениям, и воевал, и орден Почетного Легиона там получил.

А еще Наполеон восстановил польское типа «буферное государство» между подконтрольными ему территориями и Россией, и этот клочок некогда великой Польши назывался тогда герцогство Варшавское. И у него была своя армия. Которая совершенно подчинялась Наполеону и в 1812 году была частью Великой Армии. Вот там одних уланских полков было то 10, то 14; а подробно в эту историю, насквозь изученную в Польше, из русских историков, а уж тем более литературоведов, а уж тем более немногочисленных изучателей Булгарина, никто никогда особо не залезал.

Факт тот, что летом-осенью 1812 часть Висленского Легиона оставалась воевать в Испании. А часть участвовала в Русской кампании. Как и польская армия герцогства Варшавского. Но. Легион входил в основном в «молодую гвардию» маршала Мертье. А вот Варшавская армия, в частности ее уланские (шеволежерские) полки, были сведены в дивизии, а также в бригады, а также отдельные полки могли придаваться в разные корпуса Великой Армии.

(Кстати – для лучшей понятности и симметрии: в Великой Армии был и Русский Легион, численностью вдвое больше Польского (Висленского), и состоял он из русских именно, крестьян и бывших солдат, добровольно туда записавшихся. Не все любили царскую Россию до беспамятства.)

Да, так вот русская литературоведческо-историческая традиция помещает Булгарина в ряды Великой Армии, дошедшей от Немана до Москвы и обратно. И даже повторяет несколько подробностей. Что служил он в 8-м уланском (шеволежерском) польском полку, входившем во 2-й армейский корпус маршала Удино. (Тогда, стало быть, со всей 6-й легкой кавалерийской

бригадой генерала Корбино полк туда входил.) А по другим источникам – 8-й уланский входил в 15-ю легкую кавалерийскую бригаду генерала Немоевского, и с ней в состав 1-й кавдивизии 1-го корпуса кавалерийского резерва генерала Сансути. И командир полка – полковник князь Радзивилл. А не Любенский, как в первом варианте...

Сейчас подбросим монетку и определим полк для Булгарина. И с боевым путем полка в 1812 году есть разночтения. Но! После смоленского сражения, после Бородино и окончательно – после боя при Тарутино в октябре месяце – полк существовать перестал, личный состав был выбит весь.

При этом. Тяжело раненный и сдавший корпус в середине августа Удино вернулся на должность в октябре – когда полка уже не было в корпусе и нигде. О, какая лишняя деталь.

Но есть и личная подробность: это Булгарин указал Наполеону, где надо переправляться через Березину. Что свидетельствует о полной умственной и профессиональной несостоятельности того, кто сие первый придумал, и тех, кто твердил вслед. То есть люди не представляют себе военной логистики вообще – ни заготовки карт, ни размечаний маршрутов, ни головных походных и боевых застав, ни разведки, ни идущих в авангарде пионерских (саперных) частей, предшествуемых инженерной разведкой. Уланский капитан указывает главнокомандующему, где переправляться.

А он откуда знал!? Он здесь не рос, не жил, не купался, не был никогда! Диверсант, хотел утопить Наполеона!

Как хотите, господа, но кристальная ясность и логичность службы Булгарина врагам отечества – есть органическая часть военной истории России вообще. Его судьба – это судьба нашей истории. Мы хозяева своему настоящему, будущему и особенно прошлому. И хозяйское прошлое надежно сберегается под замками в архивах.

Да, так вечно я отвлекаюсь. Пребывание Булгарина в наполеоновской армии – норовили сделать предательской и гнусной страницей его биографии. Что никак не соответствует действительности. Потому что:

Это у Онегина или у кого на столе стояла «фигурка с руками, сжатыми крестом»? Культ Наполеона в дворянской среде оставался силен, в русской культурной среде – и поныне симпатии на стороне Императора. Это о нем юный Лермонтов писал: «На берег большими шагами Он смело и прямо идет, Соратников громко он кличет И маршалов громко зовет». И хоть бы одна падла поставила на стол статуэтку Кутузова. А орден Почетного Легиона и сегодня, двести лет спустя, звучит почетной наградой – есть в ней некое старое благородство и достоинство, отблеск чести.

Булгарин записался в Польский Легион – не переметнувшись из русской армии во французскую, но в годы мира и союзничества России и Франции, когда Наполеон никакой войны с Россией не планировал, напротив – императоры Франции и России обменивались нежными письмами, обращаясь друг к другу «брат»! И союз их имел антибританскую направленность, и война польских солдат в Испании против англичан Веллингтона вполне духу русско-французского братства соответствовала! Вспомните объятия и поцелуй Наполеона и Александра на плоту посреди реки – Тильзитский мир!

И притом. Что языком дворянства и света был французский. И литература была французская, и искусство. И моды, и товары, и архитектура, и мебель: стиль «ампир», «империя» то бишь наполеоновская. И куаферы, и танцы, и учителя фехтования, и гувернеры, и медики. Открытым текстом:

Россия первой четверти XIX века в плане культуры была провинцией Франции, все у нее перенимая и во всем стараясь подражать. «Французское» означало эталон и знак качества.

И? В этих условиях орден Почетного Легиона и офицерская служба в наполеоновской армии – были характеристикой качества, знаком достоинств. Это было скорее романтично; весомо; завидно! Не надо думать же, что Наполеон воспринимался как Гитлер – и близко все не

так! Наполеон был – образ романтического величия, героизма исполинского масштаба, потрясатель миров, реформатор Европы, друг просвещения и враг тираний!

Даже прижившиеся в плену французские пленные, вчерашние крестьяне и мастера – воспринимались куда выше собственных русских мужиков сиволапых, низшего сословия! А как же – хранцузы чай! А уж в 1813–15 годах Европу повидали, вольностей и комфорта хлебнули, идей набрались, а уж дезертировали – десятками тысяч! Чтоб там жить и работать, а не на родине, в России, сбежать из которой воины-победители сочли за благо и удачу. О том масса писем и дневников осталась.

Так что – уверяю вас: служба Булгарина капитаном кавалерии в армии Наполеона и Почетный Легион за действия в боях – компрометировать его никак не могла. То есть на официальном уровне – могла бы (теоретически рассуждая) подпортить характеристику гражданину России – чего никак не произошло, однако: никогда ему официально ни в вину, ни в укор эту страницу биографии не ставили. А на личном – это должно только увеличивать симпатию и уважение, как к бывшему серьезному врагу, а ныне другу и своему парню. Отношения-то в приличном обществе были довольно благородные.

В старости Булгарин вспоминал, что участвовал в шестнадцати сражениях, и не имел упреков, и поддерживал дружбу с товарищами всю жизнь. Ну так один урод придумал, а другие повторили, что он старался сражений избегать и пристроиться в это время на конюшню или еще куда. Что говорит, опять же, о злом предубеждении в сочетании с полной глупостью: нужно хоть немного представлять уклад эскадронной жизни, чтобы видеть нелепицу этого бреда: офицер перед боем устраивает себе занятие, чтоб в бой не идти. После этого ему можно только отчисляться из полка – он себя обесчестил.

Мы так долго и подробно задержались на военной службе Булгарина, потому что это самый темный и путанный период. Сейчас он кончится.

В кампании 1813 года Булгарин участвовал в сражении при Бауцене, где Наполеон разбил пруссаков и русских, и под Кульмом, где корпус генерала Вандама после двухдневных боев сдался вдвое превосходящим силам австрийцев, пруссаков и русских. Дело шло к концу.

В 1814 Франция пала, Наполеон отрекся, война закончилась, Булгарин вернулся в Варшаву. Через пару лет отправился пытаться счастья в Петербург, где никакого занятия и применения себе не нашел. В 1816 переехал в Вильну. Пробовал наняться управляющим в имение родственника. Вспомнил юность, вернулся к литературным упражнениям. Писал по-польски; кое-что публиковал в польских газетах, журнале, альманахе – многое анонимно.

Вошел в местные либеральные литературные сообщества, в университетские профессорские круги; потом еще долго поддерживал с ними отношения.

В 1819 окончательно обосновался в Петербурге. Начался новый – и главный – период его жизни. Ему тридцать лет.

...Почему, зачем мы так долго говорили обо всех этих подробностях, для чего? О, это очень важно! Очень прошу вас вдуматься:

Из всех знаменитых русских писателей XIX века – а Булгарин именно был таковым – у него единственного есть серьезная биография: жизненная, человеческая, событийная, деятельная – а не только внутренняя, литературная. Он единственный осиротел ребенком и воспитывался в закрытом военном учебном заведении. Он единственный, что детство было не психологически только трудным – но именно вообще трудным, тяжелым, в нем были лишения материальные, бытовые, житейские.

И. Он единственный, кто рос изгоем в чужой среде. Он единственный из всех писателей его эпохи – инородец. Он единственный рос как завоеванный среди завоевателей.

Перед ним единственным, одиноким мальчиком, жизнь жестоко поставила выбор: стать навсегда завоеванным, угнетенным, не смирившимся, противопоставляющим себя угнетателям гордецом – или принять свою долю, принять хорошую сторону жизни, стать таким, как все,

обрести друзей, найти применение своим силам и способностям в этой единственной жизни – такой, как она сложилась помимо твоей воли.

Это очень болезненный процесс, это очень жестокий выбор, это рана незаживающая: заросла, забылась, и вдруг – раз! напомнили! болит, кровь идет еще... (Торжествующее большинство никогда почти этого не понимает и знать не хочет – пока вдруг не окажется в роли оплеванного меньшинства: о, как тогда негодует оскорбленное самолюбие!.. сколько чувствительности и деликатности обнаруживается, когда заболит у самих!..)

И еще одно. Из всех писателей той эпохи – Фаддей Булгарин единственный боевой офицер. Единственный обстрелянный солдат, рубленый и дырявленный. Легкая кавалерия, уланы – это для наскоков и авангардов, для разведки и передовых цепей, для наступления и прощупывания, для свалки и маневра. Гусары и уланы – самые рискованные военные специализации того времени, им в боях срок жизни отмерен короче всех прочих. (Говорил маршал Ланн, командующий легкой кавалерией Наполеона: «Гусар, который в тридцать лет еще не убит – не гусар, а дерьмо!») (Героический Денис Давыдов как литературная фигура вне конкуренции и не в счет: он остался профессиональным военным, всю жизнь бредил подвигами, и стихи его – лишь приложение к образу и биографии. Остаются кавказские набеги Лермонтова и Крымская компания Толстого, то другая уже эпоха и другие причины.)

Из всех писателей той эпохи – мечтателей, гуманитаров, читателей и бумагомарак, салонных витий – Булгарин единственный пошел на военную службу как профессиональный выбор, жить чем-то надо было, средств никаких на жизнь не было, жрать нечего. Это не для развлечения, не от нечего делать, не избранный среди прочих род карьеры: а он больше ничего не умел тогда, ничем больше прокормиться не мог. Лермонтов или Толстой могли играть свою жизнь в богатстве выбора вариантов. У Булгарина другой случай.

Он был знатен, талантлив, умен, храбр и терпелив. И он же был нищ, был инородец, был без связей и без профессии. Но шляхетский гонор никогда до конца не исчезает, вдруг вспыхнет, вдруг наломает дров шановный пан... гордость никогда никуда не девается, даже когда остается только внутренним достоинством. Насчет достоинства мы еще разберемся.

Пока же констатируем: тридцатилетний Фаддей Булгарин имеет биографию мощную, как никто из коллег нынешних и будущих. Жизнь его выявляет человека страдавшего, выносливого, мужественного и храброго. Он никому ничем не обязан. Ему никто не покровительствует, за него никто не хлопочет. Он никому не кланяется и ни в ком не заискивает.

Он будет подниматься с самого низа – сам, своим умом, своим талантом, энергией, трудолюбием, предприимчивостью.

Он всегда был одиночкой. Он всегда платил за себя сам. За ним не было долгов. Ему не помогали – он помогал другим.

Еще он был обаятелен, приветлив, тактичен, скромен и обладал ценнейшим качеством, неизменно привлекающим людей: давать больше, чем брать. Он располагал к себе, дружбу с ним ценили.

И в заключение. Поскольку биография человека – это его характеристика. Репутация. А о ней речь еще пойдет. Вспомним старое:

Скажи мне, кто твой друг – и я скажу, кто ты. Друзьями Булгарина были: Грибоедов, Рылеев, Бестужев-Марлинский – и это только трое самых известных из множества. (Здесь не вредно заметить: писатель – вообще существо сложное, а уж если мы возьмем русских литераторов – то друзей Пушкина (кроме литературных заединчиков), также Лермонтова, Гоголя, а хоть и Некрасова с Тургеневым – вообще назвать невозможно. Каждый на вершине, каждый одинокий орел, у каждого чужие кости вокруг гнезда валяются.)

Приступим, наконец.

Говорить о Фаддее Булгарине трудно до невозможности. Во-первых, он много написал, писал разнообразно, многое сделал в русской литературе впервые, открыл и проложил пути;

был в свое время самым знаменитым русским писателем. Во-вторых, он самый влиятельный и успешный издатель и журналист своего времени, он создавал общественное мнение, делал политику в литературном и издательском мире. В-третьих, он был обозревателем и консультантом царского правительства в области литературы, журналистики, а также общественно-политического устройства общества. И в-четвертых – но в-главных для нас со школьной скамьи! – он был тем, на кого писали эпиграммы почитаемые нами прогрессивные писатели и критики, обвиняя во всех смертных пороках, от плагиата и бездарности до предательства и доношительства.

Так давайте хоть посмотрим наконец, какое у Гюльчатаяй личико.

В первые годы в Петербурге Булгарин пишет много разной всячины: стихи, статьи, очерки, рассказы из воспоминаний и вымышленные. Сначала пишет по-польски, печатается в польскоязычной версии «Русского инвалида». Одновременно пишет по-русски, и постепенно полностью на него переходит. По-русски в России – естественно: это перспектива, круг читателей, гонорары, вообще основной поток. И если сначала Булгарин писал много о польской культуре, истории, поэтов на русский переводил – то постепенно польская тема уходит.

Он либерал, печатается в рылеевском альманахе «Полярная звезда», в «Сыне отечества», вступает в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. Сводит концы с концами.

А в 1824 году Фаддей Булгарин пишет первое в русской литературе фантастическое произведение, это научная фантастика, повесть он назвал «Правдоподобные небылицы, или странствования по свету в ХХІХ веке». Лодка, буря, удар – и он просыпается в пещере ровно через 1000 лет. И читатель попадает в такую преинтереснейшую русскую Утопию. В ней картины необыкновенного развития науки и техники соединяются с прогрессом нравов и одновременно – это критика нравов и обычаев сегодняшних. Ничего подобного в России никто и близко не писал!

Там давно открыли Баффинов пролив – это между Аляской и Северным полюсом, этот Северный проход в начале ХІХ активно искали – и по нему налажено активное судоходство. Там полно золота и серебра для всех нужд – а деньги делают из дуба и еще нескольких прочных пород дерева. Но дальше – интереснее: там аэростаты – обычное средство передвижения, в том числе воздушные боевые корабли с сотней солдат на каждом.

До Жюль Верна еще надо дожить. Так – если воздушный шар, основа аэростата лопается, то солдаты безболезненно опускаются вниз на парашютах. А питаются они такими консервами: выпаренным досуха мясным бульоном и мучным таким порошком, которые перед едой разводят водой. Причем: у каждого приборчик для изготовления воды из сгущенного воздуха, а также для изготовления кислорода, если наверху его мало будет.

И таких подробностей – кучи! Роль международного языка исполняет арабский (однако!) – между собой же говорят исключительно по-русски: дело происходит в России, в сибирском городе Надежине. Мысль говорить между собой по-французски, а детям выписывать в воспитатели иностранцев – кажется этим русским через тысячу лет дикой и пагубной, когда автор-путешественник им это рассказывает.

А как вам нравится «профессор здравого смысла» в университете, где на юридическом факультете, скажем, прежде законоведения и судопроизводства преподаются три новых разряда наук: «добрая совесть», «бескорыстие» и «человеколюбие»? В числе же почтенных граждан города есть негры и люди оливкового цвета? Политкорректность, моральные ценности и толерантность уже тогда!..

Все пересказать невозможно. Суть вы поняли. Тексты доступны в Интернете, многое переиздано в наши времена. Развития линия фантастики, научной или утопической, в русской классике не получила. Не считая Чернышевского! «Что делать», что делать!.. Сколько там снов

у Веры Павловны? Так ей не свои сны снятся – ей болгаринские сны снятся, это все отсюда навеяло, отсюда плывет!

Знаете, повесть эта вызвала живейший интерес. Читалась на ура, обсуждалась. И Булгарин немедленно принялся сочинять вторую фантастическую вещь: «Невероятные небылицы, или путешествие к средоточию Земли».

Это было задолго, как вы понимаете, до «Путешествия к центру Земли» Жюль Верна – хотя, с другой стороны, и через сто лет после «Путешествий Гулливера» Джонатана Свифта. Да: здесь и сатира, и нравоучение, и фантастика – и в русской литературе, которая только оформлялась, только начиналась как нечто самостоятельное и зрелое, ничего подобного не существовало. Опять Булгарин был первым.

«Путешествие...» начинается как классическая утопия: друг присылает автору рукопись бог весть какого мореплавателя, случайно им купленную. И тот, судя по имени своего матроса «Джон», англичанин или в любом случае иностранец, рассказывает, как случайно на одном берегу попали в пещеру, дальше, ниже – и вот они уже в темноте, а там какие-то паукообразные существа, говорят, однако, на смеси турецкого с итальянским, и начинают расспрашивать путешественников – как там наверху. Любят ли женщины наряды и прочее. А наук и искусств у них нет, время проводят в обсуждении жизненных мелочей и пустых играх, корм подножный – короче, низший класс. И называется та страна «Игнорация», а жители – «игноранты».

Ну, рассказчик с матросом уплыли оттуда на сделанном ялике и попали в страну, где уже были сумерки, природа, а жители вроде орангутангов. И что характерно: нашу пару они приняли за животных и сильно смеялись! То была страна Скотиния, населяли ее скотиниоты, говорили они по-малайски и считали себя самыми умными и образованными из всех обитателей «Земного котла», в котором и заключена жизнь и обитаемый мир. Они плохо видят, не дальше своего носа. Там самовосхваление и самонадеянность, это все жестокая пародия на светское мнение о науках и философии и так далее. Судья не знает законов и решает дела путем игры в бирюльки.

Ну, а третья страна называется Светония, там свет и пасторальные пейзажи, цивилизованный язык составлен из русских, английских, французских и немецких слов. Там царит нравственность, умеренность и трудолюбие, каждый должен избрать себе занятие и с того жить. Праздность почитается постыдным пороком. Излишества типа мод они не понимают, считая бессмысленными. Ну, смысл понятен.

Послушайте, в России появился сочинитель с европейским образованием и кругозором, с фантазией, бичующий пороки в изящной иносказательной, хотя местами в прямой форме, прямее некуда – и все это занимательно, нормальным языком, без тяжеловесностей, местами остроумно даже!

Булгарин делается известен!

В 28-м он пишет еще одну фантастическую, утопическую вещицу – «Сцена из частной жизни в 2028 году». Через двести лет то есть. Там в гостиной петербургского вельможи собралось общество: придворный, поэт, купец, инженер, библиограф, журналист, молодая дама и прочие. И рассуждают они о процветании России, о расцвете ее промышленности и торговли: перестали поставлять в Европу только сырье, а закупать все требуемые товары – напротив, все делаем сами, и прекрасного качества, тысячи торговых кораблей бороздят моря, и расцвет наук, и чистота нравов, и народность с патриотизмом (в мягкой ненавязчивой форме, разумеется – но не без пафоса). А между прочим и гигантские тиражи книг – а, кстати о книгах, вот купили недавно старинное собрание сочинений, раритет, кто автор? – некий Булгарин. Кто таков? – а вот читают в энциклопедии. Что кроме сочинительства занимался журналистикой и писал рецензии – честные, непредвзятые, и за то был ненавидим и критикуем обиженными сочинителями, атакуем, как ястреб воронами. А что же он? – о, смеялся и не обращал внима-

ния – напротив, после этого его книги только больше раскупались. А критики-то кто? О, уже неизвестно, их имена канули в лету.

Не канули имена критиков в Лету, не канули! Они самого Булгарина не без успеха лет на полтора в Лету окунули, почти до забвения утопили! Но до этого очередь еще дойдет.

А пока в возрасте сорокалетия – вершина писательского расцвета – он публикует – внимание! – первый русский роман!

Еще раз: первый. Русский. Роман.

Первый в мире роман, написанный на русском языке. До того читали – французские; также немецкие и английские; реже испанские и итальянские. Своих не было. Молодая, имплантированная на рассаду из Европы, культура. Молодая литература – еще развивается.

Он назывался: «Иван Выжигин. Нравственно-сатирический роман. Сочинение Фаддея Булгарина».

(Ну, сейчас мы плеснем на горячий камень немножко холодной воды. Вообще – не совсем первый. Еще в 1770 Чулков Михал Дмитрич опубликовал именно что вовсе первый русский роман: «Пригожая повариха, или Похождения развратной женщины» – в жанре плутовском, как вы можете догадаться. А в 1814, сразу после войны, появился роман Нарезного Василь Трофимыча «Русский Жиль Блас, или похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова». Тот же плутовской жанр, уже название понятно, вся канва взята у Лесажа, но критика жизни допущена типично и именно русской – за что роман был мигом изъят из продаж и сгинул.

Но! Они были нечитаемы. Архаичный условный тяжеловесный язык XVIII века. Обороты громоздкие, как двутавровые балки. Нравоучения как дубина с цветочком. Это были факты из области латентного периода созревания русской литературы – но еще не ее жизни. У них был такой минус – они не были читаемы и влияния ни на что не оказали. Ниже уровня поверхности.)

Роман Булгарина. Впервые был написан языком, на котором люди разговаривали. Это явилось демократизацией и оживлением литературы! Он был читаем, узнаваем, близок. Он был живым. Он был о жизни людской, знакомой и понятной. Он стал фактом действительности.

Господа. Черт возьми. Да «Выжигин» в русской прозе – явление аналогичное «Евгению Онегину» в русской поэзии: живой язык стал литературным – или литературный живым, как хотите. Тук-тук-тук! Кто там? Живая литература пришла. Вот так придет Киплинг в Англию! Так придет Аксенов в оттепельный СССР!

Принят роман был так, что за год было допечатано несколько тиражей, а общий тираж превысил 10 000 экземпляров. Теперь необходимая справка: 1000 экземпляров был удачей, 1200 – бестселлер, 3000 – обвал, триумф, слава. Скажем, тиражи Пушкина редко доходили до тысячи, удача «Годунова» – 1200, хотя допускают 2000; обычный тираж прозы – экземпляров 400, и они продавались годами.

Кстати о материальной стороне. О Пушкине часто поминают в заслугу, что он первым в России сделал занятия литературой профессией, на гонорары стало можно прожить, хотя бы немногим удачникам. Булгарин также не презирал презренный металл и умел зарабатывать. Поскольку роман был толст, его выпустили несколькими частями. И каждая книжка стоила денег. Итого суммарно полностью весь роман стоил 15 рублей за экземпляр. Это были сумасшедшие деньги! Обычная книга стоила 2–3 рубля. Вот таких обычных несколько тут и складывалось. (Сравнение: первое издание «Бориса Годунова» имело 142 страницы и цену 10 руб.)

Первый (и пока единственный) русский роман был быстро переведен на восемь европейских языков: английский, французский, немецкий, испанский и т. д. Это был первый и единственный русский международный бестселлер. Переводили русских в это время крайне мало – а нечего было переводить, все заимствовано у немцев и французов, и всего очень скудно. У Пушкина перевели отрывок из «Руслана и Людмилы» на немецкий и несколько стихотворений на французский.

То есть. Булгарин прославился! Булгарин разбогател! Булгарин стал номером первым! Как вы понимаете, стерпеть это было невозможно. Поляк недодавленный, а тоже, самомнение. Он испортил настроение всей литературной тусовке.

В романе том знаменитом 33 главы, и в них масса всякой занимательной всячины, располагающей к раздумьям. Главный герой – сиротка безродный, не знавший родителей, а на плече у него шрам от ожога – словно метка выжжена, от нее и дали ему фамилию Выжигин, а имя Иван – как самое распространенное. Вот он маленький слуга, а вот попадает к еврею-ростовщику, а вот его забирает русский барин, а вот и в княжеский дом попадает; в нем опознают сына сестры доброй красавицы-аристократки, содержат прилично положению барчука, отдают в пансион в учение; он взростеет, влюбляется в негодницу, бежит с деньгами из дома, попадает в дурную компанию – и всюду встречает новых людей, новые типы, новые ситуации, новые стороны жизни.

Бывалые знакомцы на его жизненном пути рассказывают свои истории, там и плен в киргизских степях, и кавказские войны, и Париж, Оттоманская Порты и Бухара, карточные шулера и тюрьма, которой герой тоже не минует. В конце концов он устает от собственного авантюризма и непостоянства судьбы, выбирает тихую семейную жизнь и поселяется с семейством, имея на то средства, на Южном берегу Крыма.

Вот уж если был у нас роман тех времен, который можно назвать «энциклопедией русской жизни» – так это именно «Иван Выжигин» и никакой другой.

В романе часты «говорящие» фамилии типа Скотинко, Миловидин или Глаздурин; много критического отношения к глупостям и несправедливостям жизни, вроде неразумно построенного обучения или отношения к людям. Мораль выводится весьма явно, и она куда как позитивна: нет земли лучше нашей и народа лучше русского, душевнее и добрее; а на одного злого человека приходится ведь пятьдесят хороших; а несчастья все от непросвещенности, неразумия и плохого духовного воспитания.

Черт возьми! У героя – активная жизненная позиция! И он поднимается снизу вверх – и падает-поднимается в жизни в силу обстоятельств и собственного характера – и в конце концов обретает заслуженное тихое человеческое счастье. Братцы! Товарищи дорогие! Ну не любят таких концов русские литераторы! Героя надобно убить, затравить, ввергнуть в бессмысленность жизни, разочаровать и отправить в никуда! Людям нравится?! Что ваши люди понимают в истинной литературе?..

То есть! Конец хороший. Герою повезло после всех мытарств. Роман позитивный. Все получают по заслугам. На дне жизни счастья нет – как нет его и на вершинах богатства и знатности. Жить надо по добру, по путям доброго сердца своего, без жадности, избегая пороков. И лучшая доля – тихое семейное счастье честного человека. Вот!

Это примитивно? Дидактично? Моралитэ? Антик рашен голливуд? Или это по правде и справедливости жизни, что бывает тоже – и должно быть, и возможно, и своими руками это себе создавать надо?

Через сорок лет эту концовку – на более высоком уровне, уж это конечно – повторит Лев Толстой в «Войне и мире» – а уж это вершина вершин. А плутовские ходы и картины провинциальной жизни – изобразит Гоголь в «Мертвых душах», да и в «Ревизоре» кое-что от Булгарина есть.

Иногда специально ограничивают значение этого первого русского романа, подчеркивая «первый русский плутовской роман» – и говорят тогда про «Жиль Блаз» как первооснову, а «Двенадцать стульев», скажем, из «Выжигина» родом. Оно бы и так – но: обозначение жанра не есть ограничение жанра в более широком смысле слова. Первый – это первый, и дело с концом. А крученный сюжет и масса жизненных реалий – отнюдь книгу не обедняют.

У Булгарина был дар писать интересно. Так это не минус.

Да, к тому времени у него уже вышло собрание сочинений в пяти томах. Он был возмущительно успешен, и совершенно понятно, что это трудно было перенести – особенно тем, кто хотел полагать себя более достойными успеха и значительными по жизни.

Сейчас мы чуток забежим вперед, скажем кратко, что он был вдобавок преуспевающим издателем, самым успешным в стране; и журналистом преуспевающим; и в друзьях счастлив; и семейная жизнь сложилась; и на правительство определенное влияние имел, и на публику.

Черт, мы определенно забежали. Своим существованием он затенял литературную рошу, как дуб затеняет поляну, где уже все остальное расти затрудняется. Он был слишком значителен – и своей значительностью умалял значимость прочих литераторов, их успехов и достижений! Что? Да – попросту это называется зависть и ревность, это называется – мешает, надобно уничтожить, убрать, сжить со свету. А по науке называется: конфликт интересов при стремлении к самоутверждению. Потребность передела общего продукта в пользу тех, кому его не достало – а продукт это рынок, читатели, деньги, это все относительно, главное – у кого больше, а у кого меньше. Здесь зависть и ревность в терминах социальной психологии называется стремлением к справедливости: почему у него больше, а у меня меньше? Я ничем не хуже его! Если у него больше – это несправедливо, это положение необходимо изменить, нехорошо так делить все хорошее в мире!

О, это великое искусство – избегать зависти тех, кто преуспел меньше тебя, кто от природы меньше наделен. Тут необходимы лесть, лицемерие, подбострастие, самоуничтожение – всячески выставлять себя мелочью, а другого – большим талантом. Но погодите – мы еще остановимся на этом подробнее.

А пока – вдохновленный Булгарин на волне успеха пишет дальше, много, интересно, не теряя времени.

По горячим следам, так сказать, он пишет продолжение – второй здоровенный роман «Петр Иванович Выжигин». Подзаголовок здесь: «Нравоописательно-исторический роман XIX века». Четыре части, около 300 страниц каждая. Россия в 1812 году. Смесь исторического эпоса и личных мелодрам, масса событий разных, так сказать, масштабов. Начинается с того, что уже старый, богатый и самодурствующий Иван Выжигин запрещает своему сыну Петру жениться на бедной любимой девушке. И понеслось: частное и вымышленное лицо на одном полюсе романа – реальный Наполеон на другом. Стоп! Вам это ничего не напоминает? Старик Болконский против женитьбы князя Андрея на Наташе? «Война и мир»! Мощь произведений разная, что да то да, но замах, подход, конструкция – ох да родственная, ох да не миновать нам «Петра Ивановича Выжигина», если вникать в онтогенез, так сказать, зарождение и возникновение «Войны и мира» как феномена и вершины русского романа.

А вы говорите. Вот вам и Булгарин...

Создает он еще один оригинальный фантастический опус – «Чертополох, или новый Фрейшиц без музыки» («Фрейшиц» – так тогда писали, точнее было бы «Фрайшютц» с немецкого – «Вольный стрелок» – модная и прогремевшая тогда опера Вебера, в русской традиции переводилась позже как «Волшебный стрелок» – речь там о продаже души дьяволу за важный меткий выстрел).

Подзаголовок – «Отрывки из волшебной сказки, найденной в лоскутках». И это действительно семь кратких отрывков – в форме повествования или разговорной сценки. Хороши уже подзаголовки – оцените: «Разговор на бульваре», «Разговор в кофейном доме», «Разговор в гостиной», «Волшебный фонарь». Если даже только формально брать – это короткая проза, очень умело и изящно организованная. Так больше никто не сумел потом за сто лет. Динамично, лаконично, эффектно. Героя зовут Чертополох, и он мечтает о карьере и славе клеветника. А черта зовут Адрамелех – упоминается в Библии такое ассирийское божество злое, ему жертвы приносят. Чертополох обретает множество опасующихся его как бы «друзей», славу большую – но скверную, а в будущем преуспевает попасть без очереди в адскую пропасть.

Как вы чувствуете, критики Булгарина уже достают.

А он работает как бешеный. Он и раньше писал исторические повести: «Падение Вены» – из времен ливонских войн Ивана Грозного; «Развалины альмодаварские» – из времени наполеоновских войн в Испании; «Янычар, или жертва междуусобия» – это резня янычар в Константинополе в 1826 году, история отдельная. (Хотя две последние по краткости можно назвать сегодня скорее рассказами). Там что? – Там стиль несколько архаичен: эдакий готический романтизм с красивыми оборотами. Пафосно-орнаментальный слегка язык, ну, несколько длинновато-тяжеловато-изысканно-литературен. Но читается, однако! А двести лет назад – почитался стиль Булгарина и в этих вещах легким и приятным для чтения.

В 1830 же году ему сорок один год – и он закончил и публикует роман «Дмитрий Самозванец». В нескольких книжках – масса персонажей, событий и идей: тут папские нунции и запорожцы, монахи и чародеи, Москва и Рим, дворцы и леса – основательное произведение на темы Смутного времени на Руси. Успех, переиздания, все дела. Роману следует тут же появившийся огромный исторический очерк – или эссе? – «Марина Мнишех, супруга Дмитрия Самозванца».

Если учесть, что лишь годом ранее, в 1829, появился первый русский исторический роман – «Юрий Милославский» Загоскина – то роман Булгарина явился вторым в этом жанре в русской литературе. (Семь глав начатого и незаконченного пушкинского «Арапа Петра Великого» света при жизни автора не увидели и влияния на литературу и читателей не оказали; о содержании, кто не читал, можно в очень отвлеченном виде судить по кино «Сказ о том, как царь Петр арапа женил».)

Позднее Булгарин напишет еще один исторический роман – «Мазепа».

И что необходимо заметить – все его вещи вполне проводят идею сильной централизованной власти в России. Что это для России необходимое благо. Только так можно и благоденствие подданных обеспечить, и страну защитить, и справедливость поддерживать. И к этому моменту мы еще тоже вернемся.

Ну, все произведения Булгарина и пересказывать невозможно, и перечислять подряд довольно бессмысленно. Упомянем еще немного. Воспоминания о Грибоедове и Карамзине, масса рецензий, обзоры литературной жизни, фельетоны, всех родов публицистика.

Да – в 1837 выходит преинтереснейший труд «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях» – объема преизрядного и замаха гигантского. Подзаголовок: «Ручная книга для русских всех сословий». То есть читать можно с прикладной пользой кому угодно. Замысел – систематизировать все сведения о жизни российской на научной основе, эту основу предварительно оговорив и сформулировав. То есть: что из себя представляет страна, в которой мы живем – давайте узнаем, разберемся и поймем, тогда понятней будет, чем мы сильны, а чем слабы, и как нам жить, что делать для улучшения жизни страны и людей.

Труды подобные были в Англии, Германии, Франции – но не в России. (Где первую перепись населения провели в XIII веке монголы.) Не отличавшаяся излишней образованностью в естественных науках литературная общественность понять книгу не пожелала. Адама Смита читал? Ну, слышал? Вот и умный, и хватит.

Я полагаю, перечисленного хватит, чтобы составить себе представление о том, кем был Фаддей Венедиктович Булгарин – что за писатель, чего написал, чего оно все стоило. М-да – по деньгам стоило больше, много больше, чем у любого современного ему писателя. Но мы не об этом, конечно. Мы по литературному счету.

Итак, Булгарин-издатель. Понимаете, когда начинаешь копать, углубляешься – оказывается, что фигура Булгарина настолько велика, он сделал всего настолько много, а невежества и вранья вокруг этого намешано столько, что только удивляешься. И очень мало каких-то добросовестных сведений можно найти, все сопоставлять надо, проверять, это ужас какой-то, это

работа археолога – отрыть статую из-под помойки, собрать обломки воедино. И думать ведь надо!

В 1822 году начинает выходить «Северный архив». Он представляется как «Журнал истории, статистики и путешествий, издаваемый Ф. Булгариным». Дважды в месяц, 24 номера в год. После 1825 соиздателем становится Греч, потом журнал сольется с журналом «Сын отечества». Содержание примечательно очень, слушайте, вот я выписал: «История, политическая экономия, статистика, путешествия, география, нумизматика, некрология, библиография». Масса достойных людей стала там печататься, и Кюхельбекер в том числе, и любимый лицейский профессор Пушкина Куницын.

То есть. На негусто засеянном русском издательском поле Булгарин занял свободную полянку. И грамотно подошел к вопросу. И создал на ровном месте площадку для научных публикаций. С какими площадками в России была просто беда – и площадок нет, да и ученые не в избытке, но ведь идет научный прогресс, растет объем информации, есть потребность публиковаться, и главное – растет образованный класс, которому потребно чего-то интересного и умного почитать для самообразования и обсуждения.

Тираж невелик. Расходы подъемны. Денег где взять? – частично накопил, частично занял. Отдача есть, прибыль пошла, покупают. Причем – и простой читатель интересуется, и серьезные ученые покупают.

Здесь публиковались также переводы из античных классиков и современных западных историков, описания памятников, литературные рецензии и аннотации на выход новых книг, русских и западных, сведения о географических открытиях и путешествиях и т. п.

А в 1823 приложением к «Северному архиву» выходит журнал «Литературные листки». Здесь публикуется поэзия и проза, рецензии, есть раздел «Волшебный фонарь» – разные разности. Здесь Булгарин вводит в русскую журналистику и литературу новые жанры – в Европе раньше были, а в России нет: очерк нравов, военный рассказ, литературный фельетон. Собственно, здесь, на этих «литературных листках», и зародилась живая русская литературная полемика, печаталось все мгновенно, здесь спорили рецензии и отзывы положительные и отрицательные, давались оценки, усугублялась дружба или вражда. Да – выходил журнал дважды в месяц – но всего года полтора...

(Литературных журналов в тот момент было в России – раз-два и обчелся. Был «Сын отечества», еженедельник Греча, вышедший с 1812 года, в основном историко-политический, но печатал и литературу, поэзию в основном, преимущественно гражданской и общественной тематики. С 1818 стали выходить «Отечественные записки», там больше была история география-этнография, свой литературный вид он приобрел только с 1839 года, вот тогда он стал авторитетным, Белинский критикой рулил, знаменитости печатались. А первым с 1802 выходил «Вестник Европы», в него первым главным редактором пригласили Карамзина, это сразу придало изданию авторитет; в этом журнале впервые Пушкин напечатался в 1814 году; много было там текущей политики, европейских новостей, статей общественного характера.

Вот, собственно, и все, кто печатал литературу. Тиражи их колебались от 400 до 1200 экземпляров.)

Так что у «Литературных листков» булгаринских, отличавшихся живой реакцией на все происходящее, за полтора года существования образовалась масса читателей, сторонников и ниспровергателей, интересующейся публики, короче. Ну и покупателей при этом.

Упомянем еще кратко журнал «Детский собеседник» той же поры и вышедший позднее солидный журнал «Эконом».

Но. Самый мощный и удачный проект, знаменитый. В 1825 году Булгарин затевает главное свое издательское детище – газету «Северная пчела»...

Слушайте, тут надо прочитать отдельную лекцию по издательским делам русской журналистики 1815–1835 годов. Это будут сплетни, интриги, хлопоты, связи, рекомендательные

письма, зависть, ненависть, дележка пирога, политика, бизнес, меняющийся ветер – это сумасшедше интересное и во многом темное дело.

Помните «Дней Александровых прекрасное начало»? О, начало века было как наша перестройка: ветры вольности, открытость новым идеям и понятиям, надежды и перспективы, ослабление цензуры. А после 1812 года – прилив патриотизма и гражданственности, подъем настроений «третьего сословия», в уважение входит «народность». А после декабря 1825 – бах! – казнь и ссылка декабристов, усиление цензуры, укрепление абсолютизма, реакция!

В 1826 году Николай I создать повелел Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Главным начальником – генерал-адъютанта Бенкендорфа, командира кирасирской дивизии; ему же позднее подчинить жандармский корпус. Вообще вся эта идея Бенкендорфу и принадлежала, царь ее утвердил. И эта предтеча КГБ, эта вполне всесильная и всепроникающая служба с чрезвычайными полномочиями стала объяснять всем гражданам, кто тут главный.

Круг полномочий Третьего отделения был размыт, неопределен и почти безграничен. Четыре его «экспедиции», отдела, так сказать, могли вмешиваться во все судебные дела, должны были надзирать за иностранцами... нет, всего не перечислим: они окучивали вертикаль власти в смысле ее укрепления. Нас интересует и касается, что Отделение ведало: цензурой, печатью, следило за общественными, научными, литературными и всеми прочими организациями; надзирало за общественными нравами, правильным образованием и казенным воспитанием; отвечало за правильность взглядов населения, за пресечение революционных и вообще антимоноархических идей, за всеобщее следование патриотизму. И так далее. Короче, оно совмещало функции, если сравнивать с брежневским СССР: Министерства культуры, Отдела идеологии ЦК КПСС, Комитета партийного контроля ЦК КПСС, Комитета по печати и всем средствам массовой информации, Комитета Государственной Безопасности, ну и много еще чего, но с нас сейчас и этого выше крыши.

Да – что характерно: во всем III Отделении служило в штате – сидите крепче! – сначала 16 человек, потом 20, и только через полвека, при Александре II, разрослось аж до 72 сотрудников. Нет, жандармы не считается, это отдельно.

А нам до этого такое дело, что и раньше учредить и выпускать газету было непросто. Был Комитет по цензуре, были прочие разрозненные инстанции, и необходимо было: представить проект газеты, что ты печатать собираешься, а чиновники правительства определяли – кому политические новости доверены, кому заграничные события освещать, кому что, и чтоб не повторялось, и чтоб контролировать, и так далее. Само собой: справки, квитанции, благонадежность, материальное состояние.

Так что. Еще и до III Отделения. Получить разрешение на газету было не просто. А разрешение на объявления в ней – отдельно, дополнительно. Разрешение на рекламу – отдельно. Вообще типа лицензии разрешение на издание журнала – отдельно, допрежде всего, а на газету – это еще труднее и ответственнее.

Булгарин почему сошелся с Гречем Николаем Ивановичем, который был в коммерции не слишком успешный издатель, и с ним доходами делиться приходилось? Во-вторых, потому что поначалу-то Греч исполнял вдобавок ко всему функции редактора и корректора, тут он был умел и грамотен, профессионален. Но во-первых – потому что Греч несколько лет был секретарем Санкт-Петербургского цензурного комитета (на минуточку!) и сохранил там связи и дружеские отношения. Да, Греч еще был член масонской ложи, это тоже определенное реноме и контакты (хотя при Николае это уже не будет одобряться), но это уж плюс ко всему. То есть Греч был полезный.

Вот поэтому Булгарин и слил свои весьма успешные «Северный архив» и «Литературные листки» в одно юридическое лицо с «Сыном Отечества» Греча, который был убыточен. Потому

что Греч имел разрешение, позволяющее издавать газету! Это образовался как бы издательский дом – у Греча юрлицо с лицензией, у Булгарина успешное дело с прибылью.

Вы простите, ради бога, что я тут вам занудствую с этими подробностями, этой казуистики и бюрократией – но тем людям, в то время, это было не только очень важно – это служило частью их характеристик, их моральных и деловых обликов, важным аспектом их сущности. Хочешь жить – умей вертеться, но только в лизание верховного зада не свались – о, это умение всегда в России было ценнейшим, и наши времена тут не исключение! Иной гнет спину столь изящно, поддакивает с таким достоинством, а возражает столь осмотрительно – что свободомыслящей интеллигенцией почитается честнейшим человеком! А иной – раз! – и согласился во всеуслышание с властью, которой вздумалось сказать, что дважды два четыре: и такого подлизу могут покрыть презрением и позором.

Короче, «Северная пчела» зажужжала и полетела, простите плоскую шутку. О, в том же 1825 Булгарин издает еще литературно-театральный альманах «Русская Талия» (Талия, кто забыл – муза комедии) – но это уж так, заодно ко всему.

Газеты все в России были официальные – то есть закреплены за определенными ведомствами и ими контролировались. «Северная пчела» была первая не «официальная», а «партикулярная» газета, то есть частная, которой было дозволено печатать не только литературные вещи и мнения, но и политическую информацию – отечественную и зарубежную. Это было очень ценно и важно. Ибо Булгарин хорошо умел ловить мышей, лучше официальных издателей.

Об этой «Северной пчеле» столько говорится и поминается – что надо же и сказать, что она из себя представляла. Газета была на четырех полосах, каждая полоса делилась горизонтальной линейкой пополам. И довольно строго выдерживались на этих половинках рубрики: «Внутренние известия», «Новости заграницы», отдел поэзии был, аннотации новых книг, «Наряды», «Смесь» и много разного в том же духе. В разделе «Нравы» часто Булгарин сам печатал свои рассказы, очерки, фельетоны (на тот момент фельетоном назывался в России материал в форме как бы такого непринужденного разговора с читателем, прямое обращение к нему) – чтение там легкое было, необременительное, с развлекательным оттенком. Потом газета получила полезную льготу – первой печатать театральные рецензии (это, сами понимаете, влияние).

Важно! – упор в газете делался не на мнения по разным поводам, как было на тот момент принято в отечественной журналистике, а на новостях. То есть это была первая в России газета в современном понимании.

И о рекламе совершенно необходимо сказать. Понимаете, ведь и право размещать разные объявления, и рекламу – это все жестко регламентировалось сверху. Чиновник русский – о, он бдел!

Реклама была монополией государства. За нее ведь деньги платили. И они должны были идти только официальным газетам, в казенный карман то есть, в госбюджет, грубо говоря. Умный и предприимчивый Булгарин изобрел скрытую рекламу: печатались статьи и впечатления о разных товарах и услугах, от косметики до дантистов, хвалебного характера. Но! Взять за это деньги – означало залететь под статью: нарушен закон, незаконный доход. Ну так это имело бартерный характер: благодарили своей продукцией, обслуживали бесплатно, оказывали услуги и так далее.

Однако здесь – важнейшая вещь! Поскольку газета частная, необходимо думать о тираже и прибыли – то реклама могла быть только честная! Без обмана! Чтоб читатель знал: ежели «Северная пчела» что-то хвалит или ругает – так и есть, можно верить, и эту газету следует читать, чтобы правильно ориентироваться, что надо покупать, а что не надо. То есть: реклама работала на репутацию, авторитет, тираж.

Общую тональность, направленность газеты следует назвать народной, демократической. Булгарин полагал, что ориентироваться надо прежде всего на сословие, которое – становой хребет государства, двигатель экономики и прогресса: средний класс, купечество, чиновников, учителей и врачей, студенчество и тому подобное. (Третьим сословием в революционной Франции это называлось.)

Удивительно, что ни в одной статье мне не попались сведения о ее стоимости. Будто филологам деньги уже не важны, даже когда они рассуждают о коммерческих талантах Булгарина. Так вот: годовая подписка «Северной пчелы», когда она выходила еще трижды в неделю, то есть за 156 номеров – 4 рубля в Петербурге, 5 в провинции. Или – считайте – 3 копейки за экземпляр! Это демпинг, это неслыханно низко! Булгарин был первый русский издатель, который стал брать не розничной ценой, а прибылью с высокого оборота. Эдакий Генри Форд русского газетного дела.

Пара слов еще о чисто профессиональной, полиграфической стороне дела. Именно «Северная пчела» впервые ввела разбивку текста на три или четыре колонки, отделила нижнюю половину полосы под самостоятельные «подвалы» и прочее. Она была первой профессиональной газетой, она определила лицо будущих газет, они потом по ее образцу делались.

Итого – тираж. Четыре тысячи! Небывало. И далее – пять. Семь! Десять! Три раза в неделю. Потом – ежедневно!

Новости российские и зарубежные. Нравы, происшествия, быт, сценки. Театр, книги, обзоры, рецензии, объявления.

Н-ну-с, вот, собственно, и началась главная часть булгаринской жизни, каковая часть и определила его дальнейшую репутацию и посмертную судьбу.

Делая обзоры литературной и журнальной жизни, Булгарин в отзывах и мнениях своих был честен. А вот не льстил и не строил на своих отзывах расчетов. Он и так был независим. Хорошо стоял. А честность – что? – сильно осложняет жизнь. Нет – он отнюдь не был очернителем: многое он расценивал как хорошее и хвалил без оглядки. А многое полагал дурным – о чем рубил прямо.

А как устроен творческий человек? Сто похвал он сочтет честной данью своему таланту. Но один раз критики – очернительством и клеветой, несправедливым и злобным умыслом. Чтобы тебя любили – надо льстить без меры, льстить нагло, в глаза – только тон брать посуровее, как бы вот как ты переживаешь даже, что такой талант – и недостаточно оценен.

А если вдобавок ты удачлив, талантлив, богат, знаменит? Главная задача – избежать зависти, злой ревности избежать. А для того – публично принижаться, всем говорить хорошее, относиться к себе на людях как бы не всерьез, ставить собеседника над собой. И никого не критиковать! О коллегах – как о покойниках: хорошо или ничего!

Зависть ведь – чувство естественное: хочет человек занять больше места под солнцем, повыше залезть – а для того надо, чтоб другой тебя не затенял, не был выше тебя, не умалял собою твои успехи. Да и круг читателей, пространство литературное – ограничено, бороться с конкурентами – это уже инстинкт. Кого нельзя сожрать – дружи, а уж кого можно – жри. В одиночку не можешь – жри компанией.

Думать не о том надо, чтобы говорить правду – а о том, чтобы преуспеть, чтобы не затоптали, чтобы делам своим помогать речами. А то валит правду, как булыжник в компот, а потом еще удивляется, что его не любят. Любят того, от кого удовольствие, а не того, кто тебя обгадил. Или готов к тому. Дерьма в жизни нам и без вас хватает, господин критик, вы сами-то кто такой?

Итак. Поляк с гонором. Вспыльчивый, запальчивый, самолюбивый, упрямый. И с тяжелой судьбой, которая его бросала всяко. Талантливый писатель и очень успешный издатель. Разбогател. Добился славы. Потеснил русских литераторов и издателей. И стал говорить о них правду. Как вы догадываетесь, только об этой правде они всю жизнь и мечтали.

А с доходов своих Булгарин в 1828 году купил имение в Ливонии (в Эстляндии, под Дерптом) – за 150 000 рублей (ассигнациями, это ок. 43 000 серебром). То есть наш негодяй стремительно процветал!

...Первая известная «история» про Булгарина – дуэль с Дельвигом. Дельвиг в конце 1824 года выпускает литературный альманах «Северные стихи». Булгарин критически отзываясь о некоторых материалах альманаха, в принципе дублировавшего тогда «Полярную звезду», издание известное. Счехший себя обиженным Дельвиг вызывает Булгарина на дуэль. Секундант Булгарина – Рылеев, Дельвига – Нащокин, и Булгарин произносит им ставшую известной фразу: «Передайте барону Дельвигу, что я видел в жизни более крови, чем он чернил».

Прошу сравнить: боевому офицеру, ветерану многих кампаний Булгарину 35 лет, он здоров, гибок и крепок. Дельвигу 26, но он тучен, рыхл, малоподвижен, ленив и подслеповат. (Через несколько лет он умрет.) Ну какая дуэль, что за пародия?.. В ответ Дельвиг велел передать, что согласен не дуэлировать, но пусть Булгарин не смеет упоминать впредь его имени. Итог: через несколько месяцев они лобызались, подпив на званом обеде, сидя за одним столом.

Из дальнейших подробностей: «Ноябрь 1827 года. В Петербурге. Напрасно думали Вы, любезнейший Фаддей Венедиктович, чтоб я мог забыть свое обещание – Дельвиг и я непременно явимся к Вам с повинным желудком сегодня в 3 ¹/₂ часа. Голова и сердце мое давно Ваши. А. Пушкин».

Слушайте – а в чем вообще дело? Все отмечают: до 1825 года Булгарин был ужасный либерал – а вот после восстания декабристов ужасно переменялся. Милые мои – после восстания декабристов все в России ужасно переменялись! Особенно переменялись пятеро повешенных вскоре. Расстрелянные на картечь солдаты изменились, как и оставшиеся в живых штрафованные; сосланные в Сибирь переменялись. А у остальных вольнодумцев, кто разговаривать хотел, был выбор: перемениться или заткнуться.

Это Булгарин сохранил архив своего друга Рылеева, и тем спас помянутых в тех записях людей. Это Булгарин напечатал в своей «Русской Талии» отрывки – 7–10 явления I действия и III действие «Горя от ума», сохранив для литературы авторский вариант рукописи с надписью: «Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов. 5 июня 1826». Назавтра Грибоедов уехал в Персию, и уже не вернулся...

Слушайте, это булгаринский друг Кюхельбекер считал его лучшим журналистом России. Это Пушкин писал: «Вы принадлежите к малому числу тех литераторов, коих порицания и похвалы могут быть и должны быть уважаемы». Это Булгарин 14 декабря 1825 был на Сенатской и кричал: «Конституцию!» (а смех и шутку Рылеева: «После победы мы тебе голову отрубим на твоей «Северной пчеле!» идиоты позднейших времен стали приводить всерьез)...

Потом идиоты и мерзавцы (что часто одно и то же) будут передавать, что «Булгарин выдал Кюхельбекера», сбежавшего было после разгрома восстания. Это на деле означало: на вопрос: «Интересно, у вас нет сведений, где Кюхельбекер может скрываться?» – последовал ответ: «Длинный, тощий, нескладный, носатый – да где ж он долго может скрываться...» Так это все знали!.. Трактовка исследователей: донес и составил словесный портрет, по которому Кюхельбекер был арестован. (Вот это называется – гены народа, давшего дознавателей 1937 года.)

Но вообще – ругань и вражда среди литераторов дело обычное. Зависть и клевета тоже дело обычное. С чего такая каша заварилась?

Знаете, характер Булгарина стал дополнительно ясно виден в 1830 году. Это так вышло. В 1829 Михаил Загоскин, стало быть, опубликовал свой знаменитый роман «Юрий Милославский». Хвалили, раскупали, даже царю понравилось. А Булгарин дал в своей «Северной пчеле» разгромную рецензию. (Враги потом говорили об его зависти, но ни «Выжигин», ни «Дмитрий Самозванец» у Булгарина еще не вышли, соперничества авторов и книг не было на тот момент.) Булгарин полагал, что писать надо иначе, и исторические события изображать иначе,

и вообще метод не тот. Однако Николай «Северную пчелу» просматривал, и велел Бенкендорфу передать Булгарину, чтоб хулить роман не смел, потому что книга прекрасная и очень понравилась; щелкопер много на себя берет. Что же делает Булгарин? Булгарин в следующем номере печатает совершенно хвалебную рецензию!

Шучу, шучу!!! Это было бы естественно для Булгарина из официальной истории русской литературы. Это было бы единственно возможно для советского критика после отзыва Сталина. А Булгарин? В следующем номере печатает продолжение рецензии, еще более разносное! Ничего? Это – уже начало 1830 года, он уже такой самодержавник и реакционер, что дальше некуда, ага.

Николай сердился сдержанно – бровь поднимал. Он поднял бровь и посоветовал Бенкендорфу мерзавца посадить. Сей же час. А советом императора манкировать было не принято.

Бенкендорф подошел к вопросу грамотно. Во-первых, потом может быть не столько скандал, сколько посмешище – повод несолиден, наказание несоразмерно и скорее нелепо. А ему же потом отвечать. Кроме того – арест надо соответственно оформить, а это бумажная волокита, а потом хлопоты. И он поступает мудро: сажает Булгарина, как бывшего офицера, на гарнизонную гауптвахту. А для равновесия, когда будет царю докладывать – сажает за компанию и Греча. Чтоб не скучали. Разрешение на газету его? Пусть ответит.

При следующем докладе Николай интересуется: ну как? Бенкендорф: сидят как приказано, Ваше Величество. Сидят? А кто еще? А Греч. Гм. И где сидят? На гауптвахте, чтоб быстрее было. И как? Глубоко осознали, Ваше Величество. А Николай, прочитав рецензию и посадив автора, как-то критически задумался о романе. Ладно, хватит с них на первый раз, выпускай.

Вот после этого наглый Булгарин в своем редакционном кабинете, под портретом Государя над письменным столом, написал дату своей посадки. Так она всегда была, ее все посетители и читали. И молва по столице шла. И ничего!

Итак – все началось с гениального нашего Пушкина и известной его фразы: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Это он написал «Бориса Годунова». Занавес!

4 сентября 1826 в Михайловское въехала фельдъегерская тройка, и Пушкину объявляется распоряжение Государя: прибыть тотчас в Москву. 8 сентября в Москве его принимает Николай I: объявляет свою милость, конец ссылки, назначенной двумя годами ранее еще Александром I, он сам будет пушкинским цензором. «Теперь ты уже не тот Пушкин, что был прежде. Теперь ты мой Пушкин». Двухчасовой разговор за закрытыми дверями; знаменитое свидетельство очевидцев: Пушкин выходит со слезами умиления на глазах. Вскоре письмо от Бенкендорфа, из только что учрежденного III Отделения – открытым текстом: «Сочинений ваших никто рассматривать не будет; на них нет никакой цензуры: Государь Император сам будет и первыми ценителем произведений ваших, и цензором». Можете знакомить Его Величество лично, можете через меня. Мир-дружба, счастливый путь!

Пушкин начинает счастливый путь с завтрашнего же дня. Не знакомя Николая ни лично, ни безлично, ни через Бенкендорфа, он лишает его счастья стать первым ценителем – и читает привезенного «Бориса Годунова» друзьям и поклонникам в гостиных и салонах Москвы. За месяц с лишним следуют семь чтнок в широких кругах гостей: свет, литературная элита, знаменитости. С рукописи же снимает писарскую копию и передает в только что образованный журнал «Московский вестник» для публикации в неполном виде. А безутешный царь все еще лишен возможности быть хоть сто первым ценителем, не говоря уже цензором.

Слухи о «Годунове» ширятся, доходят до Бенкендорфа, и уже вернувшегося в Михайловское Пушкина (на столичную жизнь денег нет) настигает письмо: представить трагедию на чтение Государю же! Высоким казенным штилем, официальными оборотами, сказано в духе: Александр Сергеевич, вашу же мать, ну мы же договорились, ну к вам же с открытой душой, ну что ж вы в протянутую руку-то плюете, ей-богу, что, дать царю почитать трудно было?..

Рукопись присылается в III Отделение, царь читать почему-то расхотел, указывает Бенкендорфу дать ее на рецензию «верному человеку». А в «Московский вестник» летит от Пушкина письмо: форс-мажор, печатать нельзя, договоррываю, но я не виноват – царь есть царь. (Получил ли Пушкин от «Вестника» аванс – неизвестно, но по договору гонорар ему причитался 10 000 рублей с проданных 1200 экземпляров; литература в России была дорогим удовольствием.)

И вот далее!!! Началось!!! Далее – убойный компромат на Булгарина! Мы догадались, мы поняли все: это ему «Годунов» попал на рецензию, и он его анонимно зарубил. А сам украл замысел и сфабриковал своего «Дмитрия Самозванца», который и вышел в свет в начале 1830, на несколько месяцев раньше все же разрешенного наконец, через три года, «Бориса Годунова».

А вы как узнали, что Булгарин? Подпись стоит, или на ухо шепнули? А кто ж еще!!! Вот: все сходится! Сам зарубил, сам украл, сам напечатал. Вот какой низкий подлец во всем виноват! Таков был анализ и вывод Пушкина и прогрессивной литературной общественности.

Прибежало приличное общество порядочных людей и поставило на Булгарина большое черное клеймо. Сработали на совесть, до сих пор держится.

Грянула главная битва русской литературы. Остальные русские писатели как-то без такого в жизни обошлись, но тут – погром кухни в сумасшедшем доме.

Уязвленный Пушкин, три года трагедию не издавали, полагая себя обворованным и униженным, открыто обвиняет Булгарина в доносительстве и плагиате. Ошеломленный Булгарин пишет письмо: «С величайшим удивлением услышал я [от Олина], будто вы говорите, что я ограбил вашу трагедию, переложил ваши стихи в прозу, и взял из вашей трагедии сцены для моего романа. Александр Сергеевич! Поберегите свою славу! Можно ли возводить на меня такие небылицы! Я не читал вашей трагедии, кроме отрывков печатных, а слышал только о ее составе от ее читавших и от вас. В главном, в характере и в действии... у нас совершенная противоположность. Говорят, что вы хотите напечатать в «Литературной газете», что я обокрал вашу трагедию. Что скажет публика?... Прочтите сперва роман, а после скажите! Он вам послан другим путем. Для меня непостижимо, чтоб в литературе можно было дойти до такой степени! Неужели, обрабатывая один (т. е. по именам только) предмет, надобно непременно красть у другого? У кого я что выкрал? Как я мог красть понаслышке?».

(Повторим: Пушкин в Москве в 1826 сентябре-октябре читал «Годунова» семь раз: в домах княгини Волконской, Соболевского, Вяземского, Веневитиновых и др., – и слышали его не менее пары сотен всех специально собравшихся, в том числе: Чаадаев, Адам Мицкевич, Баратынский, братья Киреевские, Хомяков и много еще кто; то есть весь литературный свет, весь бомонд трагедию знал; была огласка и резонанс. А копия «Бориса Годунова» была передана Погодину в «Московский вестник».)

О, заварилась грандиозная склока, пересказать и сотой доли невозможно.

Друг Дельвиг немедленно пишет рецензию на «Дмитрия Самозванца», где топчется от души, причем – прямо указывает, что это похвально для автора – раз сам поляк, то и поляков изображает в романе лучшими, чем русские – но хотелось бы прочитать исторический роман, написанный русским писателем, где в центре будет именно русский народ. Вообще довольно низковато, да? Что со стороны чистокровного немца Дельвига особенно толерантно. И: умный Дельвиг печатает это анонимно. На всякий случай. Не хочет больше дуэли. И? И Булгарин решает, после всех сплетен и обвинений, что автор – Пушкин сам!

Тогда Булгарин публикует в ответ фельетон под заголовком «Анекдот», который сегодня все специалисты поминают, но никто не хочет цитировать весь. Короче, там речь об исписавшемся стихотворце, который, туземец среди достойных туземцев типа, упрекает француза в том, что он француз.

Дальше диалог двух литераторов в формате «сам дурак». Пушкин пишет заметку-фельетон «О записках Видока», стилем отвечающую истории Марка Твена, как делалась «Журналистика в Теннесси». Простите – но более грязного, низкого и оскорбительного я лично в официальной литературе не читал вообще ничего. Стиль сталинских газет про врагов народа по сравнению с этим – это киллер-джентльмен в белых перчатках. Не поленитесь – прочтите. Текст – мразь. Кто б мог подумать...

Обозленный Булгарин написал эпиграмму насчет пушкинского прадеда-негра: ты, мол, рассказываешь, как он был наперсник самого царя Петра, а вообще его шкипер купил в порту за бочонок рома и царю в подарок привез, в таком духе.

Шокированный Пушкин пишет эпиграмму весьма беспомощную (достал его Булгарин тут, судя по всему): «Говоришь, бочонок рому? Незавидное добро. Ты дороже, сидя дома, продаешь свое перо». (Хочет ли Пушкин сказать, что он не выдирает у издателей максимальные гонорары, закладывая в России литературу как профессию?)

Тогда же – его знаменитая: «Не то беда, что ты поляк...» Так и тут приключение – Булгарин сам берет и печатает эту эпиграмму в своем же с Гречем «Сыне отечества»! И последняя строчка звучит: «Беда, что ты Фаддей Булгарин». То есть: любуйтесь на личный поклеп. Такую неприязнь ко мне испытывает, прямо кушать не может. Но! Вступает друг Дельвиг и объясняет: неправильно, последняя строчка на самом деле у Пушкина звучала: «Беда, что ты Видок Фиглярин». То есть – не удалось тебе, Фаддей, представить дело так, что это совсем такой личный выпад, несколько марающий самого автора – а это вовсе даже эпиграмма аллегорического звучания.

Здесь какой еще момент унижительный? А авторское право! Булгарин выписывает, как всем авторам, Пушкину гонорар за публикацию. Взял ли его Пушкин – наука не знает, вероятно нет, но издевка налицо. Пушкин мог еще оспорить право Булгарина на публикацию без разрешения автора – но это вызвало бы уже всеобщий хохот, причем хохот в пользу Булгарина. А Пушкин свой гений ценил и издевок над собой не терпел. Хотя себе над другими позволял с удовольствием, тому много свидетельств осталось.

С этого момента по жизни они смертельные враги.

И тут в конце марта выходит отдельным изданием VII глава «Евгения Онегина». И Булгарин разносит ее в пух и прах! Действия нет, описания длинны и бессмысленны, ход скудной мысли банален, поэт исписался и пал. Эмоции Пушкина можно себе представить: он проповедует ополчение против Булгарина!.. Черт: а ведь Булгарин раньше писал такие прекрасные рецензии на II главу, и на «Бахчисарайский фонтан», и вообще все было так хорошо!

Вот с этого момента официальные характеристики и биографии Фаддея Булгарина и приобрели характер злого бреда дилетантов. Повторяют, не понимая что несут.

Но – по порядку.

Первое. Замечен ли Булгарин в других случаях плагиата за всю свою долгую и продуктивную жизнь? Пока нет. Ничего нет. Не был, даже не подозревался!

Второе. А Булгарин что – сам не мог придумать? Страдал отсутствием замыслов? Впервые узнал о Лжедмитрии? Просил друзей подарить ему сюжеты? Или наоборот – сам другим дарил, хоть тому же Гоголю?

Третье. Да на кой черт ему нужно было красть? Ну подумайте хоть секунду! Ну, допустим даже, он в душе вор бессовестный, и нет у него ничего, кроме голого расчета – а дураком его никто не считал. Ну? Пушкин в огромном авторитете, в свете все известно, плагиат мгновенно будет раскрыт, позор несусветный, судебное дело, казенные хлопоты, непредсказуемые неприятности – чего ради?! Да это все равно что красть вещь у всех на виду и всем знакомую! И выбывать навсегда из круга приличных людей! Что – это трудно сообразить?!

Четвертое. А это ничего, что «Дмитрий Самозванец», роман в четырех частях, больше «Бориса Годунова» примерно в тридцать раз? Одну часть взял – двадцать девять сам придумал?

Пятое. А откуда вообще Пушкин и Булгарин этот весь материал брали? Давно отвечено. Из «Истории Государства Российского» Карамзина, труда общеизвестного. Но. У Булгарина использованы еще польские источники, которых Пушкин не касался. И!

Шестое. В «Самозванце» все подано под иным углом, чем в «Годунове»: и отношения иные, и характеры иные, и мотивы многие психологически иные, и отношение к власти и к народу и их роль в истории – это иное, и героев больше, и Лжедмитрий – вовсе не тот Гришка Отрепьев.

Седьмое. А это ничего, что еще раньше была знаменитая трагедия Сумарокова «Дмитрий Самозванец»?

Восьмое. А как вообще можно украсть замысел и сюжет реально бывших исторических событий – которые известны и принадлежат всем, а вот версию их каждый дает собственную?

Девятое. Если Пушкин подал «Годунова» Бенкендорфу в конце 1826 – зачем Булгарину было ждать с кражей замысла до 1829? Он работал быстро, «Годунов» зарублен – чего тянуть, кради да тискай под своим именем. А он перед этим еще «Выжигина» написал и выпустил, и еще массу по мелочи.

Десятое. Рецензия анонимного рецензента давно найдена – правда, не оригинал рукописи, а писарский список для Высочайшего рассмотрения. И. Там отмечено шесть мест. Которые, по мнению рецензента, требуют некоторого исправления. И можно печатать, никаких препятствий. Вот для театра – вряд ли годится: не привыкли мы духовных особ на сцене видеть, изображаемых актерами, это вызовет нежелательную реакцию. То есть! Рецензент-аноним «Годунова» к печати не зарубал! А сделал то, что можно назвать шестью редакторскими замечаниями – и с их учетом рекомендовал к печати! (Чтоб не было сомнений – замечания не принципиальны, ничего не искажают и не сокращают.)

Одиннадцатое. Николай на это глянул – и наложил Высочайшую резолюцию: следовало бы переделать в роман наподобие Вальтера Скотта. Почему?! Чем объяснить? Только одним: раздражением от поведения Пушкина: которого вернул из ссылки, обласкал, поднял – а тот читает по салонам, даже не известив! И в журнал подает! А рецензия зачем?.. Ну, как-то неправильно рубить так прямо, сразу, если никто даже не прочитал. Прочитали – для порядка. А зарубили все равно – потому что нагл и неблагодарен. Ведь вроде даже не зарубили – а дали Высочайшую рекомендацию. Чтоб знал, кто в доме хозяин. Наглеть не надо.

Двенадцатое. А Булгарин в 1826 году никак и не подходил под характеристику «верного человека», каковому Николай велел Бенкендорфу рукопись дать. Булгарин перед восстанием декабристов печатался во всех номерах «Полярной звезды», дружил с Рылеевым и Бестужевым, поддерживал ближе всех в переписке арестованного по следствию Грибоедова, публично одобрял европейские (демократические то есть) порядки, поляк, служил у Наполеона, отец мятежник и сосланный преступник был.

Тринадцатое. По спокойном размышлении, можно допустить рецензентом любого главного редактора любого официального издания, сведущего в вопросах цензуры, благонамеренности, печати и литературы. Уж простите, господа – опыт жестокого редактирования в советскую эпоху мы имели огромный – и что? да кто угодно редактором мог быть с дипломом подходящим, и средних способностей ему вполне хватало, чтобы крамолу на дух не подпускать! (Хотя подозревают «номером вторым» конкретно Греча.)

Так что – отвечаю! – идите вы с вашей кражей, плагиатом, доносом и запретом печатать – как можно дальше лесом. Вы еще расскажите, что Ленин был самый человечный человек, а под проклятым царизмом все стонали беспрерывно с перерывами на обед.

Доносчик и агент? Вам какой агент лучше – страховой, по продажам шампуня, по рекламе? Что значит «агент», объясните пожалуйста.

А скажите – являются ли сегодня все телеведущие агентами Президентской администрации? Когда сегодня СМИ пишут, что русских военных в Донбассе нет – эти СМИ агенты? Когда социологическая служба говорит о 86 % народной поддержки Путина, а статистическая служба ежегодно наблюдает цифры роста промышленности – это агенты? Нет, это называются иначе – они придерживаются официальной точки зрения, поддерживают государственный курс. Курс плохой? Это следующий вопрос.

Когда в Советском Союзе любой главный редактор любой паршивой многотиражки был партийной номенклатурой того или иного уровня, и строго следил на проведение в печать единственно верной установки – той, которую Идеологический отдел ЦК КПСС установил – он был агент? Нет, сотрудник КГБ у него в редакции работал, и никто не знал, кто тут стучит. А редактор исполнял свои служебные обязанности.

Редакторы толстых литературных журналов – были агенты? Они тоже ходили под Партией и цензурой. Только поводок чуть-чуть длиннее. Иногда позволялось партию не хвалить. Иногда позволялось что-то в государстве чуть-чуть критиковать.

А куда ты в абсолютистском тоталитарном государстве денешься! Или будешь работать по установленным тебе правилам – или не будешь работать здесь вообще.

И что говорили лучшие из советских редакторов и журналистов брежневской эпохи? «Главное – не делать прямых подлостей. Делать хотя бы то хорошее, что можно. Ну, уйду я – на мое место поставят другого, и что, лучше будет? Я могу хоть что-то им там посоветовать, они тоже люди, иногда что-то понимают. На своем месте могу приносить пользу людям, пользу стране хоть какую-то, коли уж устроено все так, как есть».

А что говорят главные редакторы и владельцы СМИ, когда их собирают к Путину не то на совещание, не то на встречу, не то для ознакомления с его точкой зрения? Может, предлагают: «Владимир Владимирович, застрелитесь, пожалуйста»? Может, говорят прямо: «Господин президент, последний срок вашего правления был катастрофическим для страны»? Или хором стонут: «О, все что угодно, только уйдите, уйдите скорее!..»? Сичазз! Слушают почтительно, возражают иногда и очень мягко, стараются подавать советы как все лучше устроить: то есть сотрудничают с властью и в рамках сотрудничества посылно стараются приносить пользу стране и народу. И даже оппозиция – в большинстве старается критиковать конструктивно. И каждый знает: не поедешь по приглашению на встречу – либо тебя как-то выкинут, заставят уйти, либо газету твою задушат и закроют, либо коллектив в ней сменят вместе с курсом издания.

Так в чем вы Булгарина пытаетесь упрекать? Что он делал то же самое, что делали все – сотрудничал с властью? А вы мыслите иной вариант в николаевской России? А антипод его в нашем сознании литературно-историческом – Пушкин великий – не сотрудничал? Нет? Или как при Сов. власти: царя расстреляли, а Пушкин – жертва царизма? Странно еще, что не почетный чекист.

То есть. Что писал Булгарин в III Отделение? Соображения об улучшении положения дел в России. О реформах в образовании, о расширении гласности, о значении религии для русского крестьянства и так далее. Но. При этом. Что характерно. Николай I всю жизнь занимался укреплением властной вертикали. Все регламентировалось и бюрократизировалось. Все поползновения в сторону демократии и конституционности жестко пресекались – это было недопустимо и обсуждению не подлежало.

То есть. Демократизм и конституционность были главные враги и находились под запретом категорическим, они были объявлены полным злом. А абсолютная самодержавная власть – добром. Для России иначе невозможно, вредоносно, это предательство и вредительство, покушение на устои Империи, поползновение на бунт и революцию. Николай пришел к вла-

сти – и началом был мятеж в сердце столицы, бунт аристократов и офицеров при поддержке черни, хотели далее уничтожить Августейшее семейство! разболтанность Империи после либерализма Александра и европейского похода армии: начитались Вольтеров и Руссо, насмотрелись Парижей, наставили по кабинетам статуэток Наполеона!

Любая деятельность, любые изменения рассматривались только с точки зрения укрепления абсолютизма и в его рамках. И критика допускалась! – но только с конечной целью укрепления абсолютизма и в его рамках. И с недостатками и пороками можно и должно бороться, с бедностью и воровством – но только с целью укрепления абсолютизма и в его рамках!

Про Пушкина хотите? Про Пушкина мы все знаем. А Александр Сергеевич – образ светлый, воплощение добра в нашей культуре. В том же 1826 сентябре царь поручает ему составить записку «О народном образовании», что Пушкин и пишет. Читайте – она опубликована, в Сети! «Недостаток просвещения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения»! Это – о декабристах! Либеральные идеи Европы, воспринятые в походах 1813–14 годов, всему виной, влияние чужеземного идеологизма! (Это – дословно!) Пушкин цитирует манифест Николая: праздность ума всему виной. Больше внимание просвещению, усовершенствовать его – и тогда друзья и братья декабристов поймут, как они были преступно неправы.

Николай остался доволен. А другу Алексею Вульфу Пушкин писал: нельзя же упустить такой случай сделать добро.

Со школы помните? – пушкинский рисунок виселицы с пятью повешенными и рядом слова: «И я бы мог...» Ну так это неполная редакция, это написан второй вариант строчки, неполной, а в первый раз написано: «И я бы мог, как шут...» Пушкиноведа до сих пор спорят, как это понимать.

Братцы мои, да у Пушкина есть так называемый «николаевский цикл» – девять стихотворений, так или иначе посвященные Государю.

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами,
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждою, трудами...

(«Друзьям»)

...В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни...
...Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

(«Стансы»)

Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?

(«Клеветникам России»)

Ну и так далее. Придворный поэт. Получает по приписанности своей к Иностранной коллегии 5 000 рублей в год жалованья, к нему квартирные и дровяные – это оклад жалованья заместителя губернатора, выше генерала командира корпуса. И выплата эта идет не по Коллегии, а из императорского фонда! Перед смертью Пушкин говорит: «Передайте государю, что был бы весь его». Николай платит долги поэта – около 150 000 тысяч золотом (ну, кутил, в карты играл, это не важно), выкупает заложенное его отцовское имение, обеспечивает семью и образование детей большой пенсией, издает за государственный счет собрание сочинений Пушкина, весь доход – в пользу семьи.

Бенкендорф докладывает: «Пушкин в Английском клубе говорил с восторгом о Вашем Величестве и заставил всех пить за Ваше здоровье».

На Пушкина начинают писать эпиграммы: и ты, Брут, проданся большевикам! Пушкин отругивается и объясняет: это искренне, Николай хорош, о пользе России думать надобно и т. п.

Господа, это, простите ради бога, охрененно интересная история, важнейшая все, принципиальная, – и мы уже добираемся до сути, до глубины, до самой до кашеевой иглы нашей истории русской литературы и вообще русской многострадальной истории – которая есть исток многострадального настоящего и залог многострадального будущего.

Да, так «прогрессивно мыслящая» часть общества стала Пушкина презирать, поливать и сочинять типа:

Я прежде вольность проповедал,
Царей с народом звал на суд
Но только царских щей отведал —
И стал придворный лизоблюд.

И пошли слухи, что Пушкин – платный агент правительства. И пошли доносы царю, что Пушкин – грешен и неблагонадежен, Николай не обращал внимания.

То-есть, то-есть, то-есть! Изменение публичных политических воззрений, перемена в изложении мировоззрения после 14 декабря 1825 и воцарения Николая – у Пушкина и Булгарина абсолютно одинакова! Никаких принципиальных отличий! Сила солому ломит, против лома нет приема, хочешь жить в России – так за ее законы не выпрыгнешь, а Николай заборы сразу поставил прямые и высокие, и чтоб не прыгали следил зорко. Хочешь свободы? – с друзьями на кухне разговаривай, с женой под одеялом! Хочешь печататься – о самодержавии хорошо или хоть терпимо. Хочешь какой-либо карьеры – знай, где сказать похвальное слово хоть царю, хоть Марксу, хоть родной партии! Все. Тебе огласили весь список.

И вот Булгарину-то за его обзоры русской литературы, и шире – культуры, и соображения по разным общественным и политическим моментам – именно соображения! мнения! – никто отдельно и специально не платил. Хватит с него и того, что его «Северной пчеле» единственной из частных неофициальных газет дозволено печатать политические новости.

Вот фон Фок, управляющий III Отделением, вместе с Бенкендорфом его создатель, ему Булгарин также адресовал свои записки – вот что о смерти фон Фока записал в дневнике Пушкин: «На днях скончался в Пб Фон-Фок... человек добрый, честный, твердый. Смерть его есть бедствие общественное...»

Записки Булгарина давно опубликованы и открыты для чтения. Так о чем он писал? Что связь и отношения между народом и властью, то есть царем и крестьянами, должна быть теснее и осмысленнее. И здесь присяга императору – лишь одна из мер, которые дают хоть какое-то ощущение неравнодушия: а, ваши дела нас не касаются (что для России и ее населения всегда

было характерно). Что от либеральных идей народ надо предохранять (уж вот оригинал). Что уж если власть монархическая и абсолютная – то хоть в мелочах надо давать людям больше воли: пусть обсуждают безделицы, коли вообще недовольны, но не трогают главных проблем (ну прям как сегодня).

А вот уже не фон Фоку, а генералу Дубельту Леонтию Васильевичу, позднее управляющему тем же Отделением Булгарин пишет и доказывает: вредно и бессмысленно давить цензурой инакомыслие и бороться запретами с чуждыми идеями – убеждению должно быть противопоставлено иное убеждение, идее – другая, верная и более сильная идея. А иначе все равно и книги запрещенные везут, и идеями запрещенными проникаться будут, и с репутацией запрещенного любое положение усиливает свою притягательность.

Какие доносы? Какой агент?

Консультант – да. Обозреватель – да. Политтехнолог, выражаясь современным языком – да. Короче – осветитель-аналитик происходящих процессов и подаватель советов. Это – да. Не довольно ли?

А что все литераторы того времени собачились в печати, поносили друг друга, превозносили и ниспровергали, боролись за мнение публики, и критики, и к власти апеллировали насчет государственной пользы или вреда – так это дело обычнейшее и всегдашнее.

Что бесспорно – по своим гласным убеждениям Булгарин был государственник. Так что? А Пушкин кем? А Булгаков – со Сталиным боролся или заискивал? Ах – тогда иначе было нельзя? А при Николае вы много борцов за свободу и демократию знаете? Герцен? А второй кто – Огарев? Третьим будешь?

А-а – он значился чиновником. А Пушкин кем значился – глашатаем? Коллегия, титулярный советник, камер-юнкер, жалованье – он кто, анархист Кропоткин? Да если бы Булгарин написал прочувственные стихи про царя и провозгласил бы тост за его здоровье в благородном собрании – его бы как заклеямили? Не отмылся бы вообще. Булгарин значился с тем же VIII классом чиновником для особых поручений Министерства народного образования – и что? Разве что денег за это не получал – пером и газетой кормился.

Царь пожаловал Булгарину бриллиантовый перстень за «Дмитрия Самозванца»? Ну не все ж его в тюрьму сажать за раздражающую рецензию.

Но с этого момента – Булгарин враг народа! Реакционер, стукач, лицемер, льстец, клеветник, душитель свобод и исчадие ада! Хватит с вас подробностей! Пора и за топор браться!

Булгарин бездарь – и Белинский, лидер русской критики, его заслуженно заклеил! – Братцы, Белинский очень высоко оценил «Ивана Выжигина», и только постепенно его оценка съехала вниз.

Булгарин низко травил солнце русской поэзии – Пушкина! – Джентльмены, истина в том, что после разноса Булгариным VII главы «Евгения Онегина» царь передал через Бенкендорфа запрет писать что-либо против Пушкина. И травля пошла в одну кассу: Пушкину можно – Булгарину нельзя. Тем не менее «Северная пчела» в самых высоких тонах объявила о выходе отдельной книгой полного «Евгения Онегина», и кое-что дальше в том же духе.

Все писали на Булгарина эпиграммы, даже юный Лермонтов – это же общественное мнение, верно? – Лермонтов был сподвигнут на эту эпиграмму выходом булгаринского кирпича «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях». Да, от русской литературы Булгарин был не в полном восторге, насколько можно судить. Но и Лермонтов прочесть это не удосужился – однако из аристократизма, нонконформизма и поэтической независимости присоединиться к литературно-аристократической фронде считал за естественный долг. – Пройдет три года, и Лермонтов выпустит «Героя нашего времени» – и кроме порицания и непонимания не будет ничего. И единственный Булгарин напишет блестящую рецензию, превознося шедевр и пророча великую будущность автору – упомянув, что хоть и принадлежат они волею судеб к разным лагерям. Булгарин не раз являл благородство

по отношению к тем, кто его поносил. Могут ли то же сказать о себе его критики? Что ответил командующий Императорской гвардией генерал Камбронн на предложение сдаться под Ватерлоо? «Дерьмо!»

Ни о ком и близко в русской литературе не повторяли столько злобной и нелепой чуши:

Вот он лично под уздцы переводит лошадь с Наполеоном по мосту через Березину при отступлении. Это вам лошадь сама сказала, или Наполеон? А что – преданных адъютантов, верного эскорта – никого нигде нет, что безвестный польский улан ведет: «Давайте, – говорит, – я переведу!»

Вот он получает третий (вариант: второй) бриллиантовый (вариант: золотой) перстень от императора (вариант: императрицы) за «Дмитрия Самозванца» (вариант: за записку «О цензуре в России и книгопечатании вообще»). У этого негра-наркоторговца пальцев хватит на все царские гайки?

А вот пламенные историки пишут, что после войны (1812–14) все поляки, служившие у Наполеона, по закону были обязаны служить в казаках. А раз Булгарин не стал казаком – значит, его царь лично от этого освободил. За некие услуги. (Вообще военные историки – это передовой отряд российской науки, конкурирующий с народными целителями. Они до сих пор проповедуют, что Фултонская речь Черчилля – это объявление холодной войны – не читая речи и не зная шагов Сталина в политике с 1943 (отказ от признания уже признанного ранее польского правительства в изгнании) до февраля 1946 (отказ вывести оккупационные войска из Ирана), не говоря о железном занавесе.) А пехотинцы – тоже в казаки? А старики-обер-офицеры – тоже в казаки? Или это, может быть, касалось только кавалеристов, желавших продолжить службу в русской армии? А вы много слышали о мобилизации в казаки иных сословий? Эти пархатые большевистские казаки еще Штирлицу действовали на нервы. И эта банда идиотов тоже тщит себя интеллектуалами.

И того более: если в мае 1826 было приказано взять Булгарина «под строгий присмотр» в связи с некоторыми его статьями и сведениями о близости к декабристам (были и доносы на него), то можно встретить и утверждения, что тогда же Булгарин был арестован (что уже чересчур).

Ну, сведений больше нам сейчас уже не всунуть. Хватит. Давайте итожить. Чего его так ненавидели-то? Понятно, не читатели, не власти, и даже не литературный свет года до 1830 так сильно. А вот именно приличное общество и литературный свет после 1830. Хотя зрело это еще с разгрома декабристов.

Во-первых, литературная конкуренция. Борьба за читательский рынок. Это обычно, неизбежно, элементарно.

Во-вторых, он многих задевал своими отзывами и рецензиями. Ибо был честен и прям в таких отзывах – а это не просто грех: это ошибка. Он что думал – то валил, как понимал – так и отзывался. Искренне хвалил, искренне ругал. Не ставил целью этих публикаций улучшить свое положение, заискивать дружбы, устанавливать связи, показывать себя полезным сильным мира сего литературно-светского. А критика рождает злопамятность, ненависть, желание отомстить.

Третье. Он не строил отношений в литературном свете, не поддерживал в нем нужных связей, «не жил литературной жизнью». Был сам по себе. Здесь разгром декабристов сказался сильно: кто умер, кто сослан, кто казнен из булгаринского окружения. Это не абсолютно, конечно, оставались и друзья, и сторонники, и с кем словом перекинуться, рюмку выпить – но! Он уже очень сильно занят, очень много работает: на нем самая массовая и часто-регулярно выходящая газета, и он пишет в конце двадцатых – начале тридцатых во многие разы больше, чем кто-либо еще. Ему просто некогда болтать и занимать время пересудами!

Четвертое. Характер ни фигу не нордический. Вспыльчив, горд, самолюбив, независим. Это никому не помогало. (Пушкин? Характер Пушкина в конце жизни его недолгой его ведь и погубил.)

Пятое. Успех! Успех как издателя. Успех как журналиста. Успех как писателя. По всем трем статьям он был номером первым. Максимальные тиражи, максимальная слава, максимальные заработки. Это очень опасно, это требует огромной осмотрительности – этого люди, как давно известно, не прощают.

Не то шестое, не то все еще пятое. Зависть и ревность, ревность и зависть! В творческих людях эта черта развита в максимальной степени. Твой успех – умаляет меня! и хоть ты тресни. Это так вечно, это так просто, это так неизбежно. Скрывают зависть только по отношению к тем, кого свалить или принизить не надеются: или он умер, или далеко и высоко, или твоя группа, в смысле тусовка, сошлась во мнении в его величии – и тогда тебе необходимо к мнению тусовки присоединиться, чтоб не стать белой вороной и изгоем.

Седьмое. Групповщина. Если он не входит в нашу группу, и наши мнения и интересы могут не совпадать и сталкиваться – он враг группы. Нет, ну объективно враг, мешает. Истине мешает, и нашим делам мешает. Его надобно устранить. А неприязнь, растущая до ненависти – это истинное основание для устранения, первопричина то есть, мотив.

Восьмое! Очень даже восьмое! Чувство – это и есть самый глубинный уровень всей психологии. И чувство это требует реализации, действия, чтобы реализоваться, воплотиться, стать удовлетворенным – снять стресс, снять внутренний дискомфорт. То есть, то есть! Человеку решительно потребно, чтобы его чувства, мысли и поступки находились в гармонии, в равновесии, в единстве – чтобы они в согласии находились!

Ну вспомните: если жена не любит мужа (или наоборот) – она всегда найдет в нем/ней массу недостатков, которые нельзя перенести! А если любит – то и недостатков нет, просто милые особенности, простительные слабости.

То есть: зависть, ревность, ненависть к Булгарину должны были принять какую-то рациональную форму, должны были облечься в какие-то разумные аргументы, найти логичные объяснения, доказательства того, что ненавидящие – правы, он гад.

На уровне элементарной социальной психологии – здесь все просто, объяснимо легко, понятно.

А вот дальше начинается сложнее, интереснее и труднообъяснимее. Вот уже нет Пушкина, и Лермонтова нет, и Гоголя не стало. Отшумели горячие баталии, устаканился николаевский режим. А стареющего Булгарина презирают все больше, ненавидеть не устают, из литературы выстреливают рубанком. Что стряслось?..

И вот тут снова начнем по порядку.

Век Екатерины позволил дворянству, знатной верхушке, пробившимся наверх – чувствовать себя всемогущими, во многом независимыми, гордыми, с чувством собственного достоинства, олигархи, одним словом. Екатерина свою зависимость от их преданности понимала ясно.

Павел попробовал закрутить гайки, был убит, и Александр объявил оттепель. Настало время либерализма. Свободы некоторые, достоинство, элементы моральной независимости.

Шар-рах! Итог – сильно независимые декабристы. Николай натянул вожжи. И стал поджимать следы вольномыслия до стандартов испанского сапога.

И вот люди, воспитанные в гордом чувстве собственного достоинства и моральной независимости, впали в негодование и тоску по свободе. Это была скрытая и бессильная – но нравственная оппозиция режиму. Это была отчасти внутренняя эмиграция. Вот таково примерно было самоощущение тусовки дворянской литературы.

Служить деспотизму – запаadlo! Совесть страны и хранители нравственности и культуры – это мы! Нас мало читают? неважно! – пусть малыми тиражами, друг для друга, но мы будем высоко держать знамя истинной культуры – культуры для людей образованных, умных, нравственных, с чувством достоинства. А кто не с нами – тот против нас.

Оформилась социальная группа свободных аристократических литераторов. Они были знатны, у них были связи в высшем свете и во власти, у них были родовые доходы – они были независимы от милостей царя. Такие литературные герцоги и графы, презиравшие кардинала Ришелье, посягавшего на их права и независимость.

И они презирали – тех, кто сотрудищал с гнусной царской властью, повесившей и сославшей избранную публику. С властью, вбивавшей свою правящую вертикаль, усиливавшей засилье чиновников и бюрократов.

А Карамзин, придворный историограф на царском жалованье, действительный статский советник? А Жуковский, учитель императрицы, наставник цесаревича, статский советник, автор гимна «Боже, царя храни»? А Крылов, обласканный царской семьей статский советник с шеститысячным пенсионом? А Вяземский, камергер и тайный советник? А они круто стояли, их трогать не смей, их надобно уважать, дружить, ладить. Невзирая на происхождение – они стояли выше аристократической литературной тусовки, не снисходили до нее, они были в силе близ царя.

Другое дело – Булгарин, Греч, Сенковский (еще один поляк). Не по чину откусить хотят! Император с ними знакомство не водит, до дворца им не допрыгнуть. Они – плебеи. И в сотрудичестве с вышестоящей властью – вот тут-то их подлое плебейство и видно. Спины гнут, услужить норовят, подличают через это.

Когда свой сотрудищает с властью – это жизнь, условия такие, и он хочет делать посильное добро, а честь его не замарана. Когда то же самое делает другой, чужой, которого считают ниже по положению в обществе – это низкое поведение, продажность и лизоблюдство.

А хотите почитать пушкинское «Путешествие из Москвы в Петербург»? Это такой «анти-Радищев». О, как свободен и зажиточен русский крестьянин, сколько в нем достоинства! (Это о крепостных.) А как полезна и благотворна цензура – ибо даже высказывание мысли заранее в рамки закона заключать надобно! Сколько аристократизма и свободомыслия! Если бы это Булгарин написал – с ним бы не скажу цензурными словами что сделали.

Мы имеем жесткую групповщину – которой не стесняются, которую полагают законной и правильной. Своих – защиты, чужих – утопи.

А потому что есть такой закон групповой психологии: для защиты своего – нужно в тех же грехах, но в гораздо большей степени, обвинить чужого. И срабатывает поглощение меньшего большим, тихого громким. Пушкин славил царя, служил правительству, был придворным, писал благонамеренные тексты? Но! Пушкин – общепризнанный талант, Пушкин наш, Пушкин аристократ, к Пушкину прислушивается свет. Не отдадим! А вот чужой – он социально ниже, коммерчески успешнее, торгаш, борзописец, подлая личность: и все его сотрудичества и пользы правительству – вот это действительно подло! Вот о нем и поговорим!

И! Происходит обычная в человеческом мире вещь! Взгляды элиты (в данном случае литературно-светской) становятся корпоративными истинами. Ты хочешь быть принят в сообщество значительных литераторов? Так должен признать: Пушкин – светлый гений, а Булгарин – бездарный подлец. Это – опознавательная система «свой-чужой».

Проходит время – и Пушкин с Булгариным перестают быть живыми людьми, но остаются информационными образами. И каждый информационный образ имеет свою эмоциональную нагрузку. И вот это приобретает характер идеологии – и идеология уже рулит информацией: что и как можно говорить – а что и как нельзя. И вот уже из полного академического собрания сочинений Пушкина и Грибоедова изымаются все добрые слова в адрес Булгарина. А рецензия Булгарина на Лермонтова не упоминается в работах о Лермонтове. И так далее.

Култ Пушкина и очернение Булгарина превращаются в символ веры. Условие причастности к миру приличных людей. После этого можно уже не думать!

Почему? Это подчинено законам структуризации социокультурного пространства. Оно тяготеет к поляризации, к разности потенциалов разных своих величин. И сейчас только отме-

тим: на каждого Моцарта должен найтись свой Сальери, на каждого Цезаря – Брут, на каждого Людовика – Робеспьер. Все встали и поклонились великому Гераклиту: единство и борьба противоположностей! Это он первый понял.

Где умный спрячет лист? В лесу. Где умный спрячет службу царю? В тени слуги царя. Над тенью надо поработать – чтоб побольше и погуще.

Как насчет манихейства? Это ведь вариант дуализма, немалое зерно истины. Всегда должно быть белое и черное, и вечно они должны бороться. И одно определяется через другое – через противоположное определяется. Без Булгарина (и кстати без Дантеса) Пушкин не обрел бы ангельское сияние в русской культуре, ореол гения и мученика, гонимого и убитого. Ибо черные люди оттеняют его белизну.

Вам нравятся слова онтология и онтогенез? В нашем случае – это принцип и процесс происхождения объекта. Наш объект сегодня – Булгарин. Но без своей неотрывной противоположности – без Пушкина – Булгарин как сложившийся феномен не существует. Ибо Пушкин был знамя высокой дворянской литературы – а Булгарин был сформирован как образ его антипода.

Так что зависть – завистью, групповщина – групповщиной, служение власти – служением, но есть еще объективные законы структуризации социума. (Как раз в это время Огюст Конт создает свою позитивную философию и объективистскую социологию.) И вот эта объективность социальных законов вечно подставляет России подножку.

Ибо, перевалив на Булгарина всю вину за сотрудничество с государством также и свою собственную, дворянская литературная тусовка оказала русской литературе дурную услугу. Было выкинуто из литературы все, что сделал Булгарин. (О, заодно они выкинут Загоскина, потом Крестовского, Боборыкина – оставят только себя, победителей: и книг с хорошим концом в русской литературе не будет вообще. Только «Война и мир» отделается жертвой князя Андрея и Платона Каратаева.)

Господа. Вот я прожил уже на свете немало лет. И я не встречал в жизни человека – который бы для себя, по жизни, для чтения – читал «Капитанскую дочку» или «Дубровского». Они малоинтересны, вторичны, банальны, язык неприятен в чтении, архаичен. Мне неизвестен тот фанат, который не по программе, не для экзаменов, а для себя читает «Мертвые души» или «Ревизора». Перестаньте же врать – кто сейчас читает Некрасова?! Ну перечитайте же любую статью Белинского: очень много слов, половина цитат, обилие восклицаний и трудно найти мысль вообще. Но очень рвался к литературной власти, был нетерпим!

У русской классики есть два главнейших качества: она неинтересна и пессимистична. В ней нет героя, порок не наказан, добро не торжествует, жизнь тягостна. Это – портрет народа? Тогда – спасибо портретисту! Поклонитесь всем, кто уконтропулил Булгарина.

Они сделали свой выбор. Если мы не умеем писать интересно – так пусть никто не пишет. Если мы не видим смысла и радости в жизни – так пусть никто не видит. Если мы не видим цель, не умеем бороться, не добиваемся удачи – так пусть победителей и удачников в нашей литературе не будет вообще.

А вот мысленно поднимитесь над ситуацией – и представьте себе ее как два смешивающихся потока жидкости, борющихся и завихряющихся. Вот такой общий объективный взгляд. И результат – объективно – ведь именно таков!

Ну попробуйте сегодня почитать «Выжигина». Попробуйте почитать «Самозванца». Потом попробуйте сказать, что этот язык хуже «Мертвых душ» или «Дубровского» – только честно.

(Да, я слышу, откуда я знаю про Булгарина, у меня есть список книг по нему, могу и сейчас прочитать, пожалуйста:

Баранов С. Ю. О романе Фаддея Булгарина «Дмитрий Самозванец».

Городецкий Б. П. Кто же был цензором «Бориса Годунова» в 1826 году?

Коваленко А. Ю. Материальное обеспечение офицеров русской армии в царствование Александра I.

Львова Н. Н. Каприз Мнемозины.

Немзер А. Как Булгарин не вышел в гении.

Николаева А. Фаддей Булгарин – «Бедный Йорик» русской литературы.

Панфилов Д. Г. Николаевский цикл стихов А. С. Пушкина.

Рейтблат А. И. Библиографический список книг и статей о Ф. В. Булгарине (1988–2007).

Рейтблат А. Фаддей Венедиктович Булгарин: идеолог, журналист, консультант секретной полиции.

Рейтблат А. Фаддей Булгарин/Видок Фиглярин: история одной литературной репутации.

Тарасов С. Пушкин и контрразведка (Третье отделение).

Цейтлин А. Записка Пушкина о народном воспитании.

Там еще много есть, но пока хватит этого, да?)

И необходимо же учесть: это именно Булгарин, в первую очередь именно он, подготавливал российского читателя к чтению, создавал широкую читательскую аудиторию, поднимал культурный уровень людей в десять раз более широкий, чем было до него. Это он был демократический писатель, это он приохотил массу людей к чтению – и при этом, согласно старинному завету, «развлекая – поучал». Так литературно-светская чернь и это ставила ему в вину!

Это он первым стал писать про простую жизнь простых людей. Это он в николаевской России говорил, что возможно добиться своего, и удачи, и победы, и счастья – несмотря на все трудности. Так ему и это ставили в вину! Вы понимаете: Пушкин просаживал десятки тысяч в карты, Гоголь жил в Италии на царский пенсион, Вяземский был богатый наследник огромного состояния и «светский лев» (сказали бы сейчас) – и все они рыдали над печалью жизни, а если смеялись, то «сквозь невидимые слезы». В Союзе писателей СССР они не состояли, их бы там научили рыдать! Хорошо грустить о смысле жизни, когда ты богат, знатен и можно ничего не делать.

Книги Булгарина людей развлекали и при этом поддерживали, и новое что-то узнать можно. Книги литературно-светской тусовки дополняли безнадежную тошноту жизни, логической вершиной которой стал Достоевский.

Скажите, а вам не приходит в голову, что стыдно травить стаей одного? Особенно аристократам? Им – не было стыдно. Они были убеждены в своей правоте.

То есть! Внимание – очень важно! Едва нарождающаяся русская литература – уже разделилась на элитную, хорошую, правильную – и низкую, массовую, бездарную, вульгарную, недостойную. И! Это деление произвела элита – целеустремленно, сознательно, шаг за шагом, год за годом. И проявила абсолютную нетерпимость к иной точке зрения. Иной взгляд, иную оценку – объявила скверной, пороком, глупостью.

Зоилова мера. Мои большие тиражи – знак признания и таланта, его большие тиражи – знак низкопробности и угодничества перед толпой.

Поймите внимательно. Проповедуя свободу, вольность, все хорошее – светско-литературная тусовка была абсолютно нетерпима к инакомыслию. Плевать, что вас больше, что вас много – мы правы, мы лучше знаем, мы умнее и нравственнее, образованнее и прогрессивнее. Все должны думать, как мы, а несогласных и инакомыслящих мы сметем как можем.

А литература – это что? Это отражение духа народного, духовной жизни народа, его чаяний и ценностей.

И русская классическая литература – при самом своем зарождении – отразила, как структурируется российский социум и его институты. Ибо литература есть один из социокультурных институтов – вероятно, важнейший из них.

Заметьте еще: в 1820–25 годах все было ровно, все дружили, ругались не слишком и не насмерть, сотрудичали без взаимных обвинений. После 1826 – распри пошли дальше –

больше, и к концу 30-х все расслоилось и размежевалось, и сложившийся верх стал давить низ: условно говоря, направление Белинского всех вытесняло.

И в России так же! Вообще так же! Вот Орда рухнула и рассыпалась – и вместо братской дружбы Москва стала всех давить, подчинять и поглощать. Вот в Смутное время вся государственная система рассыпалась – и все предавали всех и сотрудничали со всеми, пока одна боярская партия не продавила свое главенство, поставила нового царя, и на боярской некоторой вольнице стали закручиваться гайки. Вот Александр I объявил либерализм и дозволил почти европейское вольнодумство, так пришел Николай I – и сразу образовался верх его приближенных над всеми, а остальные пытались туда тоже пробиться.

А вот 1917 год – равенство. И через несколько лет – жесточайшая диктатура и уничтожение тех, кого сочли «чуждыми».

А вот и 1991 – сколько обаятий и надежд! И проходит время – и вот общество расколото еще более резко и жестоко, чем в предшествовавшую советскую эпоху, и образовались олигархи, которые пьют все соки из народа и загаживают ему мозги бесстыжей и циничной пропагандой грязнее советской.

А советская литература 1960–1970-х годов выглядит в описании критиков совсем не такой, какой была на самом деле. И люди верят. Ибо историю литературы пишут те, у кого университетская филология, литературоведение, литературные журналы и критические статьи. И вот как они напишут – так и будет считаться. (Но об этом разговор в другой лекции.)

Итог наш невеселый. Жесткий. Однако довольно ясный.

Как на зоне отряд эков автоматически сам собой делится на воров, мужиков и опущенных.

Как любой рабочий коллектив сам собой делится на активных умелых работников, основную рабочую массу и лузеров подай-принеси.

Как любой социум подвержен объективной структуризации на страты.

Как Российское государство из любого перемешанного, аморфного состояния делится быстро на класс угнетателей и класс угнетенных. Вопрос о причинах этого, законе, истории – не здесь и не сейчас. Я только факт констатирую. Что пришедшее в состояние гражданских свобод и социального равенства Российское государство объективно самоорганизуется в два основных класса: элита властвует и грабит большинство – большинство пашет на элиту, тихо жалуется и терпит.

Так российское литературное общество в период своего формирования разделилось на два подкласса. Более близкая по происхождению и доходам, более близкая императорскому двору элита. И более многочисленная, более народно-популярная, более трудолюбивая и предприимчивая – и менее знатная, менее родовитая, менее приближенная к власти, менее влиятельная в отношениях с аристократией часть литераторов.

Это весьма соответствовало делению на дворянство и третье сословие, хотя буквального и абсолютного соответствия тут не было.

И элита всеми доступными средствами обеспечила себе в конце концов полное господство в литературе – хотя влияние «демократической» литературы на читателей в общем было гораздо основательнее, шире и – очень важно – полезнее, благотворнее.

Вот это все – аспект объективного социального процесса.

И то, что даже сегодня – в XXI веке, в России, подавляющее большинство, да почти все, умные и образованные люди, продолжают упорно и преданно держаться за явную ложь, выдумки, клевету, бред – повторяя это за другими, не желая даже вникать ни во что, но испытывая потребность принадлежать к уважаемому большинству – это знаете что?

А лучше бы мы не знали. Легче жить было бы.

Это приговор судьбе России. Приговор будущему.

Все можно преодолеть, побороть, улучшить, усовершенствовать, – но когда проникаешь вдруг подлую сущность российского бездумного общественного мнения – то надежды оставляют всяк сюда входящего в юдоль истины.

Там, где принципиально не желают интересоваться правдой. Там, где считают достойным повторять бездумно с чужих слов. Там, где культ предпочитают мысли. Где не стыдятся травить стаей одного. Где отчаянно требуют, чтобы никакие установления не пересматривались, грозя судом за «переписывание истории». Там, где сокрытие информации и фальсификация – это не постыдно, не преступно. Там нет надежды на лучшее будущее.

Там царь, генсек или президент всегда будет просто персонификация элиты – которую выделил из своего тела сам народ, чтобы одна часть жирела и угнетала, а другая кормила ее и прозябала. Эта страна всегда будет провинцией, даже если вооруженной и очень опасной. Оттуда будут уезжать лучшие. Там продолжится отрицательный генетический отбор.

Вот о чем говорит горестная и постыдная история репутации великого русского писателя, издателя и журналиста Фаддея Булгарина.